



Русские поэтессы о жене Лота

© Л. Л. БЕЛЬСКАЯ,
доктор филологических наук

*Жена же Лотова оглянулась позади
его и стала соляным столпом.*

Бытие

Широко известен библейский миф о праведнике Лоте, спасенном Богом из проклятого и сожженного Содома. Ангелы, выводя Лота с женой и дочерьми из обреченного города, запретили им оглядываться назад. Но Лотова жена нарушила запрет и была превращена в соляной столп. Этому событию в Ветхом Завете посвящено всего две строки и не указано даже имени женщины. Тем не менее, ее судьба до сих пор волнует и заставляет задумываться многих людей, в том числе художников слова.

В начале 20-х годов XX века Анна Ахматова создала цикл “Библейские стихи”, обратившись в нем к легендарным женским образам – Рахили, жены Лота, и Мелхолы, чтобы найти в их характерах и судьбах

разгадку собственной судьбы. Именно так толкует авторскую идею цикла исследовательница ахматовского творчества Аманда Хейт [1]. А Анатолий Найман видит в этих стихах воспевание чувственной, плотской любви [2]. Однако к центральной части триптиха “Лотова жена” найманская концепция вряд ли подходит, ибо героиня вспоминает не только милого мужа, но и родной город и дом, где царили мир и согласие, где прошла вся ее жизнь, и испытывает чувство тревоги, а не страсти.

Не поздно, ты можешь еще посмотреть
На красные башни родного Содома,
На площадь, где пела, на двор, где пряла,
На окна пустые высокого дома,
Где милому мужу детей родила.
Взглянула – и, скованы смертною болью,
Глаза ее больше смотреть не могли;
И сделалось тело прозрачною солью,
И быстрые ноги к земле приросли.

Жена Лота не может смириться и принять Божье наказание, перечеркнувшее все самое дорогое, что было у нее, – и за это Господь наказал ее. Как оценивает эту кару Ахматова? С одной стороны, она считает, что героиня заслужила ее своим ослушанием: “Кто женщину эту оплакивать будет? Не меньшей ли мнится она из утрат?” С другой стороны, поэтесса искренне сострадает несчастной женщине: “Лишь сердце мое никогда не забудет Отдавшую жизнь за единственный взгляд”.

Можно согласиться с А. Хейт, что в этом сюжете из Священного Писания Ахматова воплотила свое «новое восприятие идеи дома: не дома-тюрьмы и не дома, где была “дурной матерью”. Это была мечта, которую ей так и не удалось осуществить, – обретение собственного Дома. Не случайно в нагнетании деталей – городские башни, площадь, где пела, и двор, и высокий дом, и муж, и дети – проскальзывают личные нотки. Кто знает, не думала ли она в тот момент о тех изгнанниках, кто недавно вынужден был покинуть отечество? Не перестала ли она их осуждать, как год-два тому назад: “Но вечно жалок мне изгнанник...” (“Не с теми я, кто бросил землю...”)?»

Прошло полвека, и новое изгнание из России инакомыслящих и “третья” волна эмиграции пробудили интерес к древнему мифу. В середине 70-х годов поэтесса ленинградского андеграунда Елена Игнатова пишет стихотворение “Жена Лота” в форме диалога с героиней – из сегодняшнего дня. Если у Ахматовой она надеется в последний раз увидеть оставленный город в прежнем виде, каким его помнила, то у Игнатовой чей-то голос озвучивает страшные видения пылающего отчего дома, едкий дым, крики, “обугленную плоть”, “пепел и золу”. Однако Лотова жена долго отказывается оглянуться, подавляя в себе желание это сделать (“Святым дано соблазн бороться”) и убеждая себя в правоте

Господа: “Они виновны. / – Так. / – Они преступны? / – Так. / На грешной наготе / Огня расправлен знак”. Кульминационным моментом становится упоминание об убегающем ребенке – и изгнанница не выдерживает, хотя перед этим ее не устрасил рассказ об ангеле с говорящими крылами.

Ребенок на бегу.
– Багровая звезда...
– Ты плачешь?
– Не могу...
Всем поворотом:
– Да.

Как тут не вспомнить о детской слезинке Достоевского!

Третья вариация на данную тему называется “Соляной столп” (1991) и принадлежит перу Рины Левинзон. В отличие от своих предшественниц, смотревших на жену Лота со стороны, Р. Левинзон чувствует себя на ее месте и тоже прощается с родимой землей: “Куда мы? Куда уплывает земля?” Она едет на печальном поезде, и ангел-хранитель “машет крылом у последних развалин”. Как и у Е. Игнатовой, позади остаются “пепел и дым”. Но лирическая героиня, скорее, боится возвращения: слишком мало радостей было в прошлом:

Ах, как бы назад повернуть не пришлось
в то детство больное, в то сонное царство.
Мы сны оставляем.
Не дом и не сад,
а пепел и дым, и дворы ледяные.
И только бы взгляда не бросить назад –
так страшно маячат столпы соляные!

Это иной поворот привычного сюжета: не надо оглядываться, незачем возвращаться. А если не выдержишь разлуки и бросишь взгляд назад, то заметишь соляные столпы – память о тех, кто не перенес боли расставания.

О соляных столпах и желании взглянуть на оставленное говорится и в стихотворении Елены Аксельрод “Там, где сгорел Содом, едкие пятна окалины” (1991) – но без упоминания Лотовой жены: “Отбушевавшее пламя зовет оглянуться назад. В Мертвое море столпы соляные повалены, Длинными льдинами, Арктикой белой лежат”. Трагедия Содома повторяется снова и снова (вплоть до запахов дыма и серы), но переносится в другие времена и широты, обрастая новыми подробностями (*льдины, северное сияние, черный хлеб*). А “тоска по родине” и разлука с ней приобретают вселенский размах – и географический, и исторический:

Жар застыл над горами, как северное сияние.
Пахнет дымом и серой, черным хлебом и домом,
Но между домом и мною такое же расстояние,
Как между маревом Арктики и красным дождем над Содомом.

В это же время покидает неласковую отчизну еще одна поэтесса – Сара Погреб и также, припоминая старинное предание, сравнивает себя с женой Лота, но считает себя более удачливой, так как впереди ее ждет не чужбина, а земля предков.

Когда я покидала отчий дом,
Как, помнишь, Лотова жена Содом,
И всё оглядывалась на деревья,
Не утешало, что Москва – деревня,
Душа кровила под тугим бинтом. <...>
И всё же – право слово! – повезло,
Не избалованной по части странствий,
Достались мне библейские пространства
И дали дальнотворное стекло.

В XXI веке к образу Лотовой супруги обратилась Инна Лиснянская в стихотворении “Где стена крепостная и где глашатай медь” (цикл “В пригороде Sodoma”, 2001). Но речь идет не об одном мифическом эпизоде, а обо всей истории человечества: “Человечеству страшный пример подают небеса – Так разрушена Троя и взорвана Хиросима”. И звучат авторские раздумья о прошлом, настоящем и будущем (“Оглянувшись на прошлое, можно окаменеть...”, “Разве лучше содомских грядущие горожане?”), о цене за грехи и за неповиновение:

От всего Sodoma остался столп соляной –
То ли городу памятник, то ли Господней воле.
Получается – взгляд назад может стать виной,
А одна слеза может стелою стать из соли. <...>
Неужели на семьдесят градусов поворот
Головы неповинной – великое послушанье?

Кажется, что Лиснянская возражает Ахматовой, которая сочувствовала героине, но не оправдывала ее. Наша же современница протестует против Господней воли, осудившей без вины виноватую, и предполагает, что сама она “греховней супруги Лотовой в тыщу раз”, но ее грехи Бог не заметит, а ее вопросы заметут, как следы на дороге, “дьявол в смокинге черном и ангел в лиловом смоге”. Не слышится ли в этой ироничной концовке признание несовершенства Божьего мира, горькое для верующего человека, каковым является автор данного текста?

Итак, перед нами несколько трактовок старой легенды, сделанных русскими поэтессами XX столетия. Как оказалось, две строчки из Библии дают большой простор для творческой фантазии и философских размышлений. Вероятно, и в дальнейшем будут появляться все новые поэтические интерпретации этого вечного библейского мифа.

Литература

1. *Хейт А.* Анна Ахматова. Поэтическое странствование. М., 1991. С. 100–101.
2. *Найман А.* Рассказы об Анне Ахматовой. М., 1999. С. 74.

*Цфат,
Израиль*





**Символика бриллианта
в “Идиоте”
Ф.М. Достоевского**

© И. В. ГРАЧЕВА,
кандидат филологических наук

В романе Ф.М. Достоевского “Идиот” упоминание драгоценностей мотивировано высоким социальным положением героев либо их богатством. Писатель искусно обыгрывает ту особую символику, которой наделены в традиционных представлениях жемчуг, изумруды, бриллианты.

Так, одно из распространенных значений жемчуга – предвестие слез, страданий, горя. В трагедии А.С. Пушкина “Русалка” князь, задумав жениться, приезжает проститься с соблазненной им девушкой и дарит ее отцу деньги, а ей – жемчужное ожерелье. Жемчуг в подтексте пьесы выступает в своем недобром качестве, становится для героини предвестником беды, и ей чудится, будто надетое на нее князем ожерелье превращается в змею – символ коварства.

В романе “Идиот” аристократ Тоцкий, намереваясь посвататься к одной из дочерей генерала Епанчина, ищет достойный способ порвать с Настасьей Филипповной: он готов откупиться деньгами и предлагает большую сумму тому, кто согласится стать ее мужем. И точно так же в день окончательного разрыва с Тоцким Настасья Филипповна получает жемчуг, но не от него, а от Епанчина: генерал втайне сам положил глаз на своенравную красавицу и надеется, что его секретарь Иволгин, которого прочат в мужья Настасье Филипповне, покорно смиритсЯ с ролью ширмы, прикрывающей nepзoвoлительную связь патрона. Но для героини генеральский подарок означает перспективу новых унижений и нравственных страданий. Потому она с презрением возвращает Епанчину его дар.

В другой сцене Келлер, придя к Мышкину просить денег, рассказывает, как тщетно он пытался обращаться к ростовщикам, слыша от них только один ответ: “Неси золото и бриллианты, под них и дадим”. Раздосадованный Келлер съязвил: “А под изумруды, говорю, дадите?” – “И под изумруды, говорит, дам”. Князь простодушно спрашивает: “А у вас разве были изумруды?” Это вызывает невольную усмешку Келле-

ра: “Какие у меня изумруды! О, князь, как вы еще светло и невинно, даже, можно сказать, пастушески смотрите, на жизнь!” [1].

Упоминание об изумрудах, казалось бы, случайное, имеет скрытый подтекст: изумруд издавна считался символом нравственной чистоты. По воспоминаниям английского посла Д. Горсея, Иван Грозный, показывая ему свои сокровища, рассказ об изумруде начал так: “Он враг нечистоты” [2]. Действительно, несмотря на то, что Келлер был автором пасквиля на Мышкина и сам признался, что потерял “всякий признак нравственности”, князь и в нем готов видеть чистые, оправдывающие его качества. Мышкин говорит Келлеру: “Главное то, что в вас какая-то детская доверчивость и необычайная правдивость...”. А про себя думает: “Нельзя ли что-нибудь сделать из этого человека чьим-нибудь хорошим влиянием?”

Но особую роль в романе играют упоминания о бриллиантах. Богатство Тоцкого, приехавшего на вечер к Настасье Филипповне, подчеркивается бриллиантом на его руке: “Одевался широко и изящно и носил удивительное белье. На его пухлые, белые руки хотелось заглядеться. На указательном пальце правой руки был дорогой бриллиантовый перстень”. Вечер неожиданно заканчивается появлением Рогожина, намерившегося купить любовь Настасьи Филипповны за сто тысяч. У него яркий, но безвкусный шарф “с огромною бриллиантовою булавкой, изображавшею жука” и “массивный бриллиантовый перстень на грязном пальце правой руки”. И утонченный аристократ, и грубый купец хотят блеснуть своим богатством перед Настасьей Филипповной. Ведь и Афанасий Иванович Тоцкий вначале “думал соблазнить ее, главное, комфортом и роскошью”. Оба относятся к ней лишь как к красивой вещи, которой можно похвастаться в своем кругу точно так же, как дорогим перстнем. Впрочем, Афанасий Иванович с сожалением замечает: “Боже, что бы могло быть из такого характера и при такой красоте! Но, несмотря на все усилия, на образование даже, — все погибло! Нешлифованный алмаз — я несколько раз говорил это...”. Таким образом, сама Настасья Филипповна представляется редкостным бриллиантом, попавшим в грязные, недостойные руки.

Тема бриллианта сопровождает образ Настасьи Филипповны на протяжении всего романа. В первой главе Рогожин рассказывает Мышкину целую историю о том, как жестоко расправился с ним отец, узнав, что он подарил Настасье Филипповне подвески с бриллиантами. Старик не постыдился со слезами выпрашивать бесценный подарок назад. И Настасья Филипповна, сначала небрежно принявшая купеческое подношение, отдавая старику коробочку с подвесками, заявляет: “...Они мне теперь в десять раз дороже ценой, коли из-под такой грозы их Парфен добывал”. Так благодаря драгоценным камням завязываются отношения Парфена Рогожина и Настасьи Филипповны. В то же время рассказ Рогожина вызывает искреннюю симпатию Мышкина:

“...Я вам скажу откровенно, вы мне сами очень понравились, и особенно когда про подвески бриллиантовые рассказывали”. И в дальнейшем, что бы ни происходило между ними, Мышкин продолжает верить, что в глубине мрачной рогожинской души непременно кроются и светлые свойства.

В одном из писем к Аглае Настасья Филипповна кается: “...Я отказалась от мира; вам смешно это слышать от меня, встречая меня в кружевах и бриллиантах, с пьяницами и негодяями? Не смотрите на это...”. Накануне венчания с Мышкиным она особенно занята своим нарядом, озабоченно раздумывая, “что именно надеть из бриллиантов и как надеть?”. В конце романа Рогожин вводит Мышкина в спальню, где лежит убитая Настасья Филипповна: “На маленьком столике, у изголовья, блистали снятые и разбросанные бриллианты”.

Настасья Филипповна постоянно предстает перед окружающими в “бриллиантовом” ореоле. На званом вечере князь Мышкин, увидев ее “в полном туалете”, сначала “был ослеплен и поражен до того, что не мог даже выговорить слова”. Но запомнится ему не ее наряд и экстравагантные поступки, продиктованные обидой и уязвленной гордостью, а то, как под конец у нее “засверкали две крупные слезы на щеках”. Когда князь, ожидая Аглаю в парке на скамейке, невольно задремал и ему показалось, что перед ним явилась Настасья Филипповна, повторяется та же деталь: “Слеза дрожала на ее бледной щеке...”. В другом сне “она опять смотрела на него со сверкающими слезами на длинных ресницах”. Наконец, Настасья Филипповна, решив распрощаться с князем, встречает его в ночном парке: “...И точно так же, как и давеча в его сне, слезы блистали теперь на ее длинных ресницах”. Для Мышкина подлинные, бесценные бриллианты – блистающие, сверкающие слезы страдающей женщины, в которой добро борется со злом, жажда мщения – с готовностью к самопожертвованию.

Связь образов *слезы* – *бриллианты* – распространенный художественный прием, встречающийся не только в литературе, но и в фольклоре. А.Н. Афанасьев писал: “Народные сказки часто говорят о несказанной красавице, <...> в поэтически верном изображении они замечают о ней: когда красная девица улыбается – то сыплются розы, а когда плачет – то падают бриллианты и жемчуг” [3]. И в финале романа рассыпанные у изголовья Настасьи Филипповны блистающие бриллианты напоминают об этих неоцененных миром слезах, о мучениях, исканиях и гибели не понятой окружающими души.

Символика бриллианта в романе многозначна. В свое время Грозный так рассказывал о приписываемых этому камню свойствам: “Я никогда не пленялся им, он укрощает гнев и сластолюбие и сохраняет воздержание и целомудрие” [2]. Поэтому бриллианты в уборе Настасьи Филипповны в подтексте романа служат намеком на ее духовную чистоту. Она сама с горечью признается, что безуспешно старалась заслу-

жить уважение окружающих, держа себя, “как неприступная добродетель”, не склоняясь ни на чьи посулы и домогательства и даже Тоцкого держа на расстоянии. Мышкин говорит ей: “...Вы страдали и из такого ада чистая вышли, а это много”. О том, что в художественной системе Достоевского бриллиант ассоциировался с лучшими качествами человеческого сердца, свидетельствует запись в черновиках к роману “Братья Карамазовы”. Груша, по своей судьбе и характеру напоминающая Настасью Филипповну, решив расстаться с Дмитрием Карамазовым, говорит: “Прощай, Митя, не поминай лихом и не сердись, любила я тебя... да не тебе, знать, бриллиант сохраняла”.

Вопреки старинному поверью, будто бриллианты способны укрощать гнев и сластолюбие, они не смогли сдержать ни пороков Тоцкого, ни мстительных порывов Настасьи Филипповны, ни кипения темных страстей в душе Рогожина. В жестоком мире “Идиота” очищающая, умиротворяющая магия этих камней оказалась бессильной...

Литература

1. Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1973. Т. 8.
2. Горсей Д. Записки о России XVI – начала XVII в. М., 1990. С. 86.
3. Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. В 3 т. М., 1995. Т. 1. С. 307.

Олицетворение в рассказе Юрия Олеши “Лиомпа”

© Н. С. МАКАРОВА

Исследователи отмечают, что “олицетворение как ведущий прием стилистической организации некоторых текстов формирует (наряду с другими тропами) его художественную структуру” [1]. Рассказ Ю. Олеши “Лиомпа” представляется именно таким текстом.

Олицетворение из ряда других тропов выделяет его двоякая сущность. С одной стороны, оно представляет собой стилистическую фигуру и является изобразительным средством языка, с другой – более, чем другие тропы, тяготеет к феномену мифологического или первобытного мышления; суть олицетворения заключается в перенесении черт живого существа на неодушевленные предметы и явления. Как правило, выделяют две группы олицетворений. К первой относят стилистическую фигуру, уже утратившую яркость и образность: имеются в виду стершиеся олицетворения, в которых уже произошла семантизация значения (например, *ночь пришла*). Олицетворение в индивидуальных стилях и в мифологии относят к другой группе и утверждают, что они имеют сходную природу, беря начало в так называемом “мифологическом” или “анимическом” мировоззрении.

Еще один тип олицетворения важен именно для рассматриваемого рассказа: “как символ, непосредственно связанный с центральной художественной идеей и вырастающий из системы частных олицетворений” – об этом говорится в “Литературной энциклопедии терминов и понятий”.

Но очевидных случаев олицетворения в рассказе “Лиомпа” не так уж много. Они сосредоточены в начале и касаются в основном описания обстановки коммунальной квартиры. Одушевляются предметы быта: “Жизнь примуса начиналась пышно: факелом до потолка. Умирал он кротким синим огоньком”; “Кран тихо сморкался” (курсив здесь и далее наш. – Н.М.); “Потом наверху заговаривали несколькими голосами трубы”; “Кран разговаривал”; “Флакон смотрел на него”.

Откуда же берется ощущение, что рассказ буквально пронизан олицетворениями? Попробуем это понять. Иногда впечатление одушевленности вещи зависит непосредственно от контекста, в котором она упоминается. Например, в описании разнообразной деятельности, которая кипит на кухне коммунальной квартиры, предметы, формально

не олицетворенные, тоже кажутся живыми. Так, предложение “в киятке прыгали яйца” после фразы о “жизни” и “смерти” примуса, а также в контексте нескольких других, находящихся поблизости олицетворений, тоже воспринимается как олицетворение: яйца прыгали, как прыгает, обжегшись, живое существо.

В том же абзаце, рядом с большим количеством “одушевленных” предметов быта встречается фраза: “Один лишь стакан продолжал сиять на подоконнике. Он получал сквозь калитку последние лучи солнца”. Здесь насыщенный олицетворениями контекст тоже заставляет воспринимать неподвижность и освещенность стакана как его “сознательный выбор”, а не как простую констатацию местоположения неодушевленного объекта. В пользу одушевленности стакана говорит и словечко лишь. Оно противопоставляет спокойствие стакана суете, которую устроили на кухне другие предметы и которой стакан как бы сознательно не поддается.

Еще один способ одушевлять, не прибегая к явному приписыванию неодушевленным объектам признаков и свойств одушевленных существ – поставить неодушевленный объект в грамматически активную позицию. Для этого он становится в позицию подлежащего или активные конструкции (с неодушевленным в роли подлежащего) предпочитают пассивным. Оба эти способа позволяют создать ощущение одушевленности мира неживых объектов, хотя явных олицетворяющих признаков мы в этих случаях не видим. Приведем примеры: “Так в один день покинули его служба, почта, лошади”; “Ускользнул из власти его коридор”.

Итак, *служба, почта, коридор* – подлежащие. Эти неодушевленные предметы – носители и инициаторы сознательных, активных действий “покидать” и “ускользать”. В данном случае эта активность и является олицетворяющим признаком, хотя олицетворение здесь не столь очевидно, как в случае с фразами “кран разговаривал” или “флакон смотрел на него”. Те же глаголы можно легко представить во фразах вроде “последние силы покинули его” или “эта возможность от него ускользнула”, которые лишь в очень слабой степени воспринимаются как олицетворения, а то и вовсе не ощущаются таковыми.

Еще два примера: “Больного окружали немногие вещи: лекарство, ложка, свет, обои”; “Оно [яблоко] блистало в листве, легонько вращалось, схватывало и поворачивало с собой куски дня, голубизну сада, переплет окна”.

Здесь олицетворение ощущается еще слабее, но все же оно присутствует. В первом случае активностью наделены вещи, а не человек: они окружают больного, а не больной окружен ими. Автор делает выбор в пользу активной конструкции, потому что вещи живые и активные, а человек – больной и пассивный. Второй случай похож на первый. Яблоко занимает позицию подлежащего, притом что сказуемые здесь –

глаголы, выражающие активное действие: “схватывать” и “поворачивать”. Легко можно было бы выразить ту же мысль, написав: “В яблоке отражались голубизна сада, переплет окна и т.д.”, но тогда яблоко сразу перестает быть “живым”.

Активность вещи выражается даже в ее способности быть освещенной. Вот уже знакомый пример со стаканом: “Один лишь стакан продолжал сиять на подоконнике. Он получал сквозь калитку последние лучи солнца”.

Мы уже назвали некоторые основания, позволяющие говорить здесь об олицетворении стакана. В упоминании стакана, освещенного солнцем, активная роль отводится не солнцу (источнику света), а стакану. Не солнце освещало стакан, а стакан “получал” последние его лучи. Так “самостоятельность” стакана становится еще большей.

Отметим, что *свет* выделен в рассказе тем, что он и сам попадает в категорию вещей: “Большого окружали немногие *вещи*: лекарство, ложка, *свет*, обои”. Здесь мы встречаемся с овеществлением – приемом, сходным с олицетворением.

Итак, ощущение олицетворенного мира создается целым комплексом средств: явное приписывание неодушевленному свойств и признаков одушевленного существа; помещение неодушевленного в контекст, насыщенный олицетворениями; а также помещение неодушевленного в грамматически активную позицию.

Сюжет рассказа чрезвычайно прост. В коммунальной квартире умирает одинокий, больной человек. При этом процесс его ухода показан не через описание конкретных событий, а через эволюцию взаимоотношений этого человека с миром вещей.

Образы главных героев рассказа очень условны. Мы почти ничего не узнаем о них как о конкретных людях. Никакие обстоятельства их жизни не сообщаются. Автору важно только то, как происходит взаимодействие каждого из них с миром вещей, миром неодушевленных предметов.

Помимо умирающего в рассказе присутствуют еще два персонажа: это “мальчик Александр” и “резиновый мальчик”. Каждого из этих троих характеризует свой, особый тип взаимоотношений с вещами, и для каждого этот свой тип является принципиально важным, в отличие от других людей, которые появляются в рассказе фоном, под собирательными названиями “взрослые”, “остальные”, “знакомые”, для которых мир вещей – ничего не значащая обыденность.

Итак, если все три главных героя – это три разных типа взаимоотношений человека с неодушевленным миром вещей, попытаемся выяснить, чем же именно противопоставлены эти типы и какую роль в их изображении играет олицетворение.

В тех эпизодах рассказа, которые касаются умирающего Пономарева, доминирует тема ухода вещей. Уход этот постепенен, он ускоряется

по мере усугубления болезни Пономарева: “Сперва количество вещей уменьшалось по периферии, далеко от него, затем уменьшение стало приближаться все скорее к центру, к нему, к сердцу”.

Об исчезновении вещей в рассказе говорится двумя разными способами: “...Вещи ушли”; “Он знал: смерть по дороге к нему уничтожает вещи”.

В первом случае налицо олицетворение, которое акцентирует самостоятельность вещей, освобождение их из-под власти умирающего человека. Но хотя вещи “уходят” от больного, они продолжают существовать в мире. Совсем другой подход демонстрируется во втором утверждении. Здесь вместо олицетворения – аллегория, причем речь идет уже не об уходе, а о полном уничтожении вещей.

Уход вещей сопровождается утратой Пономаревым власти над ними. Тема утраты власти над вещами возвращается постоянно: “Когда он понял, что тяжело заболел и умирает, то понял он также, как велик и разнообразен мир вещей и как мало их осталось в его *власти*”; “Из всего огромного и праздного их [вещей] количества смерть оставила ему только несколько, и это были те вещи, которых он никогда бы, если бы это было в его *власти*, не допустил в свое хозяйство”; “Он *потерял право* выбирать вещи”.

В свою очередь, вещи, над которыми Пономарев больше не властен, проявляют самостоятельность. На уровне стиля это выражается в обилии олицетворений. Одни вещи “ушли”, “покинули” его, “ускользнули” от него, другие, “непопавшие”, “вторглись” в его “хозяйство”. “Уходящие вещи оставляли умирающему только свои имена”. Все это подразумевает сознательную, самостоятельную деятельность вещей, то есть олицетворение.

Образ каждого из главных героев рассказа представляет собой ярко выраженный мировоззренческий тип. Так вот, размышляя об уходе вещей, Пономарев выступает как носитель четкой, узнаваемой философской позиции, которая, правда, как раз в этот момент стремительно трансформируется. Он говорит себе: “Я думал, что мира внешнего не существует, я думал, что глаз мой и слух управляют вещами, я думал, что мир перестанет существовать, когда перестану существовать я. Но вот... я вижу, как все отворачивается от еще живого меня. Ведь я еще существую! Почему же вещи не существуют? Я думал, что мозг мой дал им форму, тяжесть и цвет, – но вот они ушли от меня, и только имена их – бесполезные имена, потерявшие хозяев, – роятся в моем мозгу. А что мне с этих имен?” В философии такой подход к проблеме бытия называется солипсизмом. Это крайняя субъективистская позиция, заключающаяся как раз в том, что реальными признаются лишь чувства человека, но не вещи и явления окружающего мира.

Мальчик Александр противопоставлен Пономареву в том, что он наделен властью над вещами, способен управлять ими. “Он [мальчик]

действовал в полном согласии с наукой. Мальчик знал законы”, – говорится о нем. Знание законов наделяет мальчика той властью, от потери которой мучается Пономарев. Заметим: в рассказе есть намеки на то, что до болезни Пономарев и сам разделял позитивистский подход к миру, во всяком случае, имел отношение к науке. В бреде он “хочет писать трактат” и видит Ньютона.

Власть мальчика над миром вещей столь сильна, что он может сам создать вещь, которая станет потом жить своей жизнью: “Мальчик Александр делал летающую модель”.

Стремление мальчика управлять миром вещей проявляется в каждом его действии. В самом конце рассказа, когда гроб, принесенный для Пономарева, с трудом проходил в дверь кухни, “мальчик Александр влез на плиту и помог, поддерживая ящик снизу”. Характерно, что он стремится управлять даже тем предметом, который по своей природе и назначению сам имеет абсолютную власть над человеком.

Летающая модель и гроб резко противопоставлены друг другу именно в силу того, что первая полностью управляема человеком, а второй – заключает в себе человека, не способного больше ничем управлять.

Еще примеры противопоставления Пономарева и мальчика Александра. О Пономареве и мальчике Александре в разных местах рассказа встречаются две очень похожие по своей структуре фразы: “Больного *окружали* немногие вещи: лекарство, ложка, свет, обои”; “Вокруг мальчика *располагались* резиновые жгуты, проволока, планки, шелк, легкая чайная ткань шелка, запах клея”.

Глаголы, которыми обозначено присутствие вещей, тоже выявляют разное отношение Пономарева и мальчика к миру вещей. “Слово не имеет одного определенного значения, оно – хамелеон, в котором каждый раз возникают не только разные оттенки, но иногда и разные краски” [2]. Итак, то, что мы знаем о разном отношении героя рассказа и мальчика к миру, дает право интерпретировать эти фразы следующим образом: Пономарева вещи “окружают” – и в этом чувствуется их злобная неподвижность, даже враждебность, вокруг мальчика вещи “располагаются” – слово, подразумевающее естественность и удобство.

Важно отметить, что в тех эпизодах, которые связаны с мальчиком Александром, прием олицетворения не используется ни разу. Можно сказать, что Александр является в рассказе знаком позитивистского подхода к миру: для него мир – объект познания, а вещи в нем не живые, не имеют собственной воли – они абсолютно познаваемы и управляемы.

“Резиновый мальчик” противопоставлен одновременно и Пономареву, и Александру. “Он только вступил в познание вещей”, – говорится о нем. Неслучайно мальчик “резиновый”. Он так мало знает о мире, что пока и сам – как бы вещь. Он так же, как и Пономарев, совсем

не может управлять вещами, и это принципиально отличает его от Александра. И другое: если от главного героя вещи “уходят”, то “резиновому мальчику” они “несутся навстречу”. Пономарев, стремящийся удержать вещи, не может остановить их уход. А между тем, вещи устремляются к мальчику без каких бы то ни было усилий со стороны ребенка: “Он уходил, и пышный шлейф вещей бился за ним”. В тех эпизодах рассказа, где говорится о резиновом мальчике, нет явных случаев олицетворения, но активность вещей, как видно из приведенных примеров, постоянно подчеркивается.

В рассказе косвенным образом затрагивается центральная проблема философии языка – проблема вещи и ее имени. Вот как это делается. Имена, остающиеся от уходящих вещей, воспринимаются Пономаревым как абстракция, они не имеют больше отношения к “плоти” вещей, они случайны. Здесь язык выступает в своей символической, служебной функции. Слова когда-то служили Пономареву для обозначения вещей, теперь, когда он больше не может пользоваться вещами, исчезла надобность и в именах.

Перелом в сознании Пономарева происходит в самый момент его смерти, когда он пытается придумать имя для крысы. Здесь берет верх мифологический, первобытный подход к языку, когда имя вещи не отделялось от самой вещи и знание ее истинного имени давало человеку власть над нею. На эту особенность мифологического мышления указывает Кассирер: “Кто владеет именем и умеет им пользоваться, тот приобретает власть и над самим предметом, тот и овладевает им со всеми его возможностями” [3]. Придумывание имени для крысы – последнее усилие умирающего получить власть хотя бы над каким-то элементом мира: “Тут же в голову пришла ему беспокойная мысль, что крыса может иметь собственное имя, неизвестное людям”. “Лиомпа” – слово, вынесенное в заглавие рассказа, и есть то самое имя. Сознание Пономарева уже в бреду прибегает к последнему доступному ему средству удержаться в мире, он делает это инстинктивно.

С проблемой вещи и ее имени связано и важное отличие Пономарева от “резинового мальчика”. Пономарев мучается от того, что вещи ушли, а имена их, которые он ощущает пустыми абстракциями, остаются: “То, что плоть вещи исчезала от него, а абстракция оставалась, – было для него мучительно”. Ребенок же, напротив, наделен способностью непосредственно ощущать окружающие вещи, “не зная ни одного имени”.

“Резиновый мальчик” оказывается здесь символом мифологического, то есть донаучного и дофилософского подхода к миру. Он как бы открывает для себя имена вещей, что приводит на память библейский миф об Адаме, дающем имена всем вещам, или древнегреческие представления о существовании ономотета – законодателя имен.

Помимо собственно олицетворения, примеры которого были подробно нами разобраны, в рассказе есть очевидные случаи таких близких к олицетворению явлений, как метаморфоза и аллегория.

Метаморфозу как художественный прием характеризует то, что она не просто переносит элементы значения с одной лексической единицы на другую (как это происходит в случае с метафорой или метонимией, равно как и с олицетворением) – она как бы создает внутри литературного произведения сказочную реальность (оговоримся, что нас будет интересовать именно одушевляющая метаморфоза). Происходит это как за счет прямого отождествления неодушевленного объекта с одушевленным, так и за счет приписывания неодушевленному множественных олицетворяющих признаков, в результате чего создается цельный облик живого существа. Поэтому неудивительно, что метаморфоза появляется в рассказе именно в эпизоде бреда Пономарева – ведь в бреде человек видит реальность преобразенной: “Флакон смотрел на него. Рецепт тянулся, как шлейф. Флакон был бракосочетающейся герцогиней”. О метаморфозе здесь можно говорить именно благодаря отождествлению неодушевленного флакона с герцогиней.

“Он [больной] разговаривал с одеялом. – Ну, как тебе не стыдно?.. – шептал он. Адеяло сидело рядом, ложилось рядом, уходило, сообщало новости”. Здесь суть метаморфозы в многочисленных олицетворяющих признаках, приписанных неодушевленному. Адеяло способно быть адресатом обращения, разговаривать, сидеть, ложиться, ходить. Кроме того, по размерам и конфигурации одеяло может напоминать человеческое тело. Все это заставляет усматривать здесь явление, отличное от обычного олицетворения.

Еще один близкий к олицетворению прием – аллегория. В аллегории, как и в метаморфозе, не всегда видят самостоятельную фигуру речи, считая их частными разновидностями более общих категорий символа и метафоры соответственно. Однако, как и в случае с метаморфозой, можно выделить признак, отличающий аллессию от других художественных приемов. Речь идет о достаточно строгих ограничениях, накладываемых на круг возможных субъектов аллессии. Исследователи говорят об “устойчивом арсенале аллессических образов”, о том, что “аллегория – это специфический художественный штамп с достаточно ограниченной номенклатурой образов” [1]. В рассказе – это один из типичных представителей такого класса образов: смерть. Пономарев видит, как “смерть по дороге к нему уничтожает вещи”, и осознает, что “из всего огромного и праздного их количества смерть оставила ему только несколько, и это были те вещи, которых он никогда бы, если бы это было в его власти, не допустил в свое хозяйство”. То, что “деятельность” смерти направлена на вещи, а не на человека, еще раз подчеркивает одушевленность вещей.

Текст рассказа имеет не повествовательный, а описательный характер. Но за описанием простого события (болезнь и смерть человека в коммунальной квартире) скрывается два традиционных философских вопроса: во-первых, о бытии вещи; во-вторых, о вещи и ее имени. В свете этих вопросов трое главных героев рассказа оказываются не реалистически изображенными персонажами, а представляют собой три ярко выраженных мировоззренческих типа, каждый из которых определяется характером своих взаимоотношений с миром вещей.

Понятие олицетворения далеко не всегда сводится к приписыванию некоторому предмету олицетворяющих признаков. Часто оно представляет собой некое силовое поле, которое охватывает большие фрагменты текста, а то и весь его целиком. Кроме того, иногда и чисто грамматические средства могут служить целям олицетворения.

Темой и сюжетом рассказа обусловлено использование автором олицетворения, которое является стилистическим способом выражения идеи об ожившей вещи, способной взаимодействовать с человеком на равных.

Литература

1. Некрасова Е.А. Олицетворение // Очерки истории языка русской поэзии XX века. Тропы в индивидуальном стиле и поэтическом языке. М., 1994.
2. Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка // Тынянов Ю.Н. Литературная эволюция. М., 2002.
3. Кассирер Э. Философия символических форм. Т. 1. М., – СПб., 2002.

Метаязык и метастиль войны в военных мемуарах и в художественных произведениях

© А. В. СТЕПАНОВ,
доктор филологических наук

Наши наблюдения мы намерены подать прямой наводкой – примерами. Первый – из мемуаров генерала армии, кавалериста: “В вагонах ржали и метались [на подъезде к Москве при налете] лошади. Пришлось пойти к коням... Моя Зоя, положив голову мне на плечо, жевала корку хлеба и косила на меня умным встревоженным глазом” [1].

Голова, по определениям риторик, – “верхняя благородная часть тела”. Окажись, представляется нам, вместо слова *голова* слово *морда*, что соответствует разговорно-здоровому смыслу русской речи, – стиля, как такового, т. е. экспрессии сердца, не было бы: “Вижу бьющуюся в предсмертных судорогах мою красавицу Зою” [1].

Следующий пример – из мемуаров генерала-летчика. В направленной ему от будущего Главного Маршала авиации ленте аппарата СТ говорилось:

– “Вы, как норовистый жеребец, не в состоянии себя обуздать”. “Как странно было прочесть это слово на ленте буквопечатающего аппарата. Да ладно. Жеребец так жеребец, хорошо что хоть не простой, а норовистый. Ради эпитета и существительное употреблено”, – успокаивал себя – уже в согласии с практической стилистикой русского языка – советский ас [2].

А все же существительное *жеребец* – просторечие: некладеный конь. Выходит, простых жеребцов не бывает: все норовистые. Это были примеры с разнонаправленными экспрессивно-речевыми векторами.

Но есть другие.

“Мы дали клятву: Стоять насмерть! От этой клятвы нас могла освободить только смерть. Сие убеждение было продиктовано не только сознанием стратегической обстановки... Это было веление сердца” [3]. Стилистически окрашенное *сие убеждение* восходит к дискурсивно ожившему устарелому “Сим объявляется” в Постановлении Государственного Комитета Обороны 19 октября 1941 года. Это выражение – по диктовке И.В. Сталина – не только выдавало личное пристрастие диктовавшего к его материнскому языку – богословской (бурсацко-се-

минарской) речевой традиции, оно поднимало официально-деловой дискурс до риторического, библейского стиля [4].

“Сим удостоверяется, что генерал армии Тюленев И.В. является уполномоченным ГКО по обучению и сколачиванию вновь формирующихся дивизий” [5]. Для нас примечательны церковнославянизм *сим...* и разговорно-деловое *сколачивание* – будто “разбегающиеся” слова дискурса.

Война способствовала росту национального самосознания, что сказывалось в возрастающем влиянии книжных слов на русскую речь.

Известно, что в персональной лингводидактике А.М. Горького, разработанной для литературной учебы начинающих писателей, главным был постулат: язык, слово как *орудие* (оружие) культуры. Оценочными определениями выступали антонимы: *острое* – *тупое*, т. е. согласно кавалерийским ассоциациям 20–30-х годов XX века. До войны не знали признака *броневой*. В первый год наши бойцы не умели стрелять из противотанковых ружей. Приказ от 16 марта 1942 года по 38-й армии гласил: “Внедрить в сознание бойца и командира, что ПТР – это грозное оружие против танков” [6]. Процесс *внедрения в сознание* приобретал порой самые курьезные формы, особенно если это касалось отдельного человека. Вмешательство дискурса заявляло себя в таких случаях парадоксами, но с уверенно неопровержимой тенденцией к сохранению единства стиля – тоталитарно благопристойного.

Командарм А.С. Жадов вспоминает, что к нему обратился командующий Донским фронтом К.К. Рокоссовский:

«– Васильев [псевдоним Верховного Главнокомандующего] очень доволен действиями армии. Однако ему не понравилась ваша фамилия. Он просил передать вам его пожелание изменить ее. К утру доложить свое решение.

– Поменять фамилию, с которой родился, прожил почти полжизни! Но пожелание Верховного – больше чем пожелание. Это приказ!

Я рассказал члену Военного совета <...>

– Не стоит вам, Алексей Семенович, ломать голову <...> Можно сохранить фамилию в своей основе и заменить лишь букву “и” на букву “а”.

Его предложение пришлось мне по душе. Через несколько дней мне вручили резолюцию: “Очень хорошо. И. Сталин”. Этот документ у меня сохранился» [7].

Поэтика войны рождала стиль, извлекая его даже из ковша разговорного людского.

“...Милый ты мой, до чего же ты прокоптился. <...> Вот что с тобой проклятый немец, окостенелая его душа, сделал!” Чей это говорит герой и о каком – под июльским испепеляющим (1942-й год) “неподвижным солнцем” предмете – тотеме стиля – пшеничном колосе – читатель догадался, конечно. Это Звягинцев из романа М. Шолохова “Они сра-

жались за Родину". К концу XX века предмет – этот тотем попадает в дискурс, т.е. в положение, не поддающееся, как определяют это слово философы, культурной идентификации, при видимости погружения в жизнь. Напоминаем: дискурс – букв. "разбежаться в разные стороны".

Вот он, этот дискурс: "О поле, поле, хлебное поле, самое дивное творение человеческих рук!.. поле колосьев... Пока зреют на нем колосья – жив человек и да... воскреснет человеческая душа..." [8].

А далее залпы инвективов и пейоративов (т.е. резко бранных слов), которые обрушатся на "выродка", лишившего народ хлебного поля, колоса.

"Вербализованное сознание" народа схватывалось единой и, может быть, единственной из существующих в мире метафор, в мирное время распространяющейся благодушно дискурсивными императивами: "Хочешь быть счастливым – ищи колос в семьдесят зерен" (из пожеланий Влад. Солоухина), "Мы все за хлеб в ответе! Ни зернышка на ветер!" (из "хлебоуборочной" поэзии).

Писательская поэтика войны разрабатывала образную перспективу слов или словосочетаний в тексте, создавая порой (в отличие от военных мемуаров) миражи и химеры – *полихромия* стиля.

"Зеленый луч" – название повести Леонида Соболева. "– Удивительный луч, который окрашивает небо и море в чистейший зеленый цвет", а по разъяснению физиков, "в течение десятка секунд после того, как диск солнца полностью скроется за ровным чистым горизонтом".

С чем приходится сталкиваться? С глазной филологией? С применением поэтической силы "внутренней формы слова"?

Уже сам «корень прилагательного "зеленый" помнит – утверждал А.А. Потебня в "Мысли и языке" – родство с огнем и светом». А здесь добавляются и огонь и свет войны. Контаминация этимологической и стилистической стихий.

"Моряки сложили легенду, будто лишь очень счастливому человеку удастся поймать... знаменитый зеленый луч". Командиру катера лейтенанту Алексею Решетникову, герою повести, удалось.

Перекинем "трап" полихромии к роману "Костер" К. Федина. Утром, сразу же после 12-ти часов 22 июня 1941 года один молодой человек вышел к морю: «Он увидел стадо медуз. Это было нашествие многокрасочных, разнокалиберных тел, игравших на солнце пульсацией своих студенистых тканей. Большинство напоминало по цвету свежую ржавчину с вялым мясным отливом. Среди этих ржаво-красных скопищ то всплывали к самой поверхности, то солидно окунались поглубже особи опаловые или молочно-васильковые <...> Алексей обладал особенной чертой: он "задумывался"». Глагол в кавычках: явление энантиосемии – в значении сосредоточиться и в значении подвинуться к тому, чтобы свихнуться?

Но “зрелище нашествия морских чудовищ наделило Алексея на минуту застывшим равновесием. Он дивился этому все подавляющему обилию жизней и этому отсутствию в них смысла”.

Война и в самом деле перекодирует (переведет) обилие человеческих жизней в 27 миллионов смертей...

Алексей “с неожиданным спокойствием признал, что пробуждение в войне означало полную перемену его существования. Ему стало ясно, что он уже подчинен новой цели, которой вольно или невольно, подчинились все, кто встретил это утро” [9].

А 25 июня, т.е. на третий день войны, отец Алексея, писатель-комедиограф Александр Пастухов будет отмечать на подмосковной даче день рождения:

«Я выдержал чудовищное сражение <...>

– Сражение? Где же это, дорогой друг? – спросила худая дама.

– В “Гастрономе”, – ответил он <...>

– Ты только поди, Юленька, посмотри на кухне, какого я отвоевал титанического рыбака!» [9]. “Сражение”, “отвоевал” – видимо, первые военные слова для будущих военных пьес. Травестия стиля – в манере комедиографа.

«Но разве можно, – говорил, открывая конференцию “Великая Отечественная война и русская литература”, академик А.Б. Куделин в ИМЛИ им. А.М. Горького, – комедией изображать трагедию войны?»

“– Все мы тогда жили обуреваемы страстями”, – признавался Маршал Советского Союза И.С. Конев (“Сорок пятый”).

Страсти – если судить по художественной литературе – семантический вектор романтического стиля. Выходит, жили во власти Зла? Страсти – его агенты.

Однако и слова-понятия крестьянского обихода способны подниматься в своей экспрессии до риторических. Начальник тыла 1-го Белорусского фронта вспоминает, как перед Берлинской операцией надо было спасти скот, оставшийся без надзора: “Реальным представлялся только один способ – перегона <...> У нас был за плечами опыт перегона от Волги до Днепра, но то был русский скот, привыкший ходить по 15–20 км” [10].

Связанные с войной денотаты (реалии): синий платочек, огонек, черный ломтик блокадного хлеба, фронтовые “сто грамм”, гудки паровоза, увозящего эшелон в сторону фронта или тылового госпиталя, письма – относятся к мощно трогающим сердце резонаторам тонов стилового кардизма.

Его классическая модель в живописи – картина А. Лактионова “Письмо с фронта”.

Безбрежна, безмерна поэтика войны. Мы тронули струну языка, стиля, дискурса.

Струна оборвалась.

Звук растаял в семантических святынях стиля: сердца, правды, подвига.

Литература

1. Стученко А.Т. Завидная наша судьба. М., 1968. С. 82–83, 86.
2. Савицкий Е.А. Полвека с небом. М., 1988. С. 179.
3. Чуйков В.И. Гвардейцы Сталинграда идут на Запад. М., 1972. С. 19.
4. Телегин К.Ф. Не отдали Москвы. М., 1975. С. 233.
5. Тюленев И.В. Через три войны. М., 1972. С. 147–148.
6. Москаленко К.С. На Юго-западном направлении. Воспоминания командарма. М., 1969. С. 165.
7. Жадов А.С. Четыре года войны. М., 1978. С. 61.
8. Астафьев В.П. Прокляты и убиты. М., 2002. Кн. 1. Ч. 2. Гл. 13.
9. Федин Конст. Костер. Ч. 1. М., 1961.
10. Антипенко Н.А. На главном направлении. М., 1971. С. 242–243.

“Его зарыли в шар земной...”

О поэзии С.С. Орлова

© Ю. А. ОЗЕРОВ,
кандидат педагогических наук

Сергей Сергеевич Орлов принадлежит к поколению поэтов-фронтовиков, прошедших испытание и жизнью и смертью. В краткой автобиографии “О себе” (1968) он писал: “Я родился в 1921 году в селе Мегра Белозерского района Вологодской области в семье сельских учителей” [1]. Потом десятилетка в Белозерске, продолжение образования в Петрозаводском университете на историко-филологическом факультете. Добровольный уход в армию.

В 1941–1944 годах воевал на Волховском и Ленинградском фронтах, был танкистом. После тяжелого ранения демобилизовался. В 1954 году окончил Литературный институт.

Ранние стихи Орлова печатались в провинциальных газетах. По-настоящему он обратил на себя внимание опубликованным в 1946 году сборником стихов “Третья скорость” (на военном языке это боевая скорость, на которой танки шли в бой). В нем показаны героические будни войны, жизнь переднего края, привычное на фронте: кровь, страдания, смерть... Война рисуется как повседневная тяжелая работа. Герои произведений Орлова – русские парни в ушанках, валенках, кирзовых сапогах; им чужды уныние, неверие в победу. Примечательно, что поэт избегает формы рассказа от первого лица, употребляет местоимение “мы”, подчеркивая этим коллективный подвиг своих товарищей. Чаще всего “мы” – это отдельный танковый батальон.

Книгу стихов доброжелательно оценил Павел Антокольский, указав на то, что “она полна четких, точно угаданных подробностей и наблюдений, полна живого реализма” [2]. Обилие деталей делает изображение фронтовой жизни достоверным, зримым, придает стихам характер репортажа. Вот документально точное, последовательное описание первого в жизни поэта танкового боя в стихотворении “Это было 19 марта 1943 года”: “С пяти до десяти была Артподготовка...”. Перечисляются детали: “Сосны срезав”, пушки врага били “огнем, свинцом, железом...”. И опять информация: “Сигнал атаки прозвучал Открытым текстом в шлемофонах...”. За дело принимается сама природа: “...И лес разверзся, зарычал И двинул в даль слонов по склонам” (сравнение “слоны” – танки усиливает впечатление). Следует описание атаки: танки лезут на высоты, за ними идет пехота. После боя взгляду танкиста

предстала горестная картина выжженной земли: "...сожженная дотла, Земля лежала правдой страшной..."

В окопах – непривычная тишина, передающая томительное чувство ожидания... И в воображении поэта возникает метафорический образ:

Казалось нам, оглошшая, слепая,
Устав от шума, спать легла война.

(“Перед наступлением”, 1943).

В стихотворении “Кузнечики стучат в траве...” (1943) рисуется обстановка, близкая к боевой. Рождаются сравнение, связанное с миром природы: пока еще “Молчат тяжелые КВ в густом березняке”, зато “как танки вдалеке”, в траве кошунственно звенят кузнечики – своеобразные предвестники готовности к действию.

Другая картина передает напряжение наступающей армии: “Ревут моторы на подъемах, Дрожит, покачиваясь, лес...”; “Пыль позади на сотни метров, Песок скрипучий на зубах, Машины дышат жарким ветром...” Эти реальные подробности более выразительными делает гиперболическое сравнение:

Идут машины, словно громы,
Сошедшие с крутых небес...

(“На марше”, 1944).

С психологической достоверностью и мотивированностью передает Орлов в стихотворении “Перед атакой” (1943) настроение бойцов непосредственно перед боем. Предельное напряжение всех сил улавливается в грубоватых солдатских фразах (“Коль за атакой – вновь атака... Устал ты, как собака... на все нам наплевать...”) и в динамичных глагольных формах: броня “обжигает”, “Лишь только бы скорей ракета, Чтоб заряжать, хрипеть, стрелять...”

Сборник “Третья скорость” – это не только летопись тяжелых военных будней, фронтового героизма, но и солдатской дружбы:

О ней, негромкой и суровой,
В огне проверенной стократ
И освященной алой кровью,
Солдаты вслух не говорят.

(“Дружба”, 1943).

Написанная в балладной форме “Карбусель” (1943) – трагическое повествование о том, как в бою за эту деревню под Ленинградом погибли многие товарищи. Особенно страшна смерть танкистов: люди горят живыми, а если выпрыгивают из горящего танка, попадают под пули

врага, держащего каждую машину на прицеле: “Мы ребят хоронили в вечерний час... Мы подняли лопатами белый наст, Вскрыли черную грудь земли”. Ко многому обязывала священная солдатская дружба. “Завтра мы возьмем Карбусель!” – эта последняя строка звучит как клятва верности павшим друзьям и Родине.

Сам Орлов дважды горел в танке. Первый раз осколок снаряда, разорвавшийся внутри машины, должен был убить его, но спасла медаль “За оборону Ленинграда”, которую он носил в левом кармане гимнастерки. Второй раз – в ожесточенном танковом бою у деревни Гора под Псковом в феврале 1944 года. Об этом подробно рассказывает литературный критик В. Дементьев, которого связывала с Орловым многолетняя дружба, в книге “Мой лейтенант” (М., 1981). Трое танкистов были убиты, чудом уцелели механик-водитель и комвзвода Орлов. Обоженных, истекавших кровью вытащила их из-под обстрела санитарка и довела до первых деревенских дворов... Потом пошли скитания по госпиталям, преодоление полосы нечеловеческих болей и страданий. Об этом говорит сам поэт:

Щеки в шрамах, в багровых рубцах
(Нету прежнего больше лица).

(“Не таким, не в войну, с полпути ...”, 1945).

Страшно было взглянуть на свое обезображенное лицо, но еще тяжелее, наверное, видеть сочувствующие взгляды, испуганно отводимые в сторону. Жалость может тоже ранить, а ведь надо было жить... Об этом такие строки:

Вот человек – он искалечен,
В рубцах лицо. Но ты гляди
И взгляд испуганно при встрече
С его лица не отводи.

(“Вот человек – он искалечен...”, 1945).

Вместе со своим поколением Орлов выдержал труднейший экзамен, а созданные им стихи являются доказательством способности художника и человека с его сильной чистой душой и ясным разумом к точным поэтическим формулам.

Ключевым и программным является вошедшее в сборник стихотворение “Его зарыли в шар земной...” (1944). Пафос его составляют философские раздумья о войне и мире, о мироздании, о величии человека, о гуманистической сущности его деяний. Обыкновенный солдат, отдавший свою жизнь ради мира на всей планете, зарыт не просто в землю, а в земной шар, который отныне становится для него не могилой, а космическим мавзолеем... Так рождается образ вселенского масштаба, от-

вечающий тому значению, которое придавал Орлов подвигу каждого погибшего воина. Масштаб создается гиперболой (“земной шар”, “как мавзолеей Земля”, “миллион веков”, “Млечные Пути”), которая усиливает грандиозность, глобальность свершенного. Мужские окончания, строгий, чеканный ритм, скорбно-торжественная интонация, повторы и вариации (“солдат”, “солдат простой”, “парень”), емкость образов, олицетворение явлений природы, значительность обобщений и высокая символика (воин-освободитель обретает бессмертие) приближают стихотворение к народному сказу, придают ему эпическое звучание.

В то же время произведение глубоко лирично: несет печать личного участия, личной боли, личного размышления. Поэт как частица поколения, спасшего от фашизма свою Родину, Европу и весь мир, имел право мысленно полностью отождествить себя с этим безымянным солдатом (неслучайна деталь: парень положен в земной шар “руками всех друзей”, причастных к судьбе погибшего). Строки наполнены высокой патетикой, которая выражает мироощущение художника. По жанру это стихотворение-реквием, стихотворение-памятник, которым становится для солдата вся Земля в безбрежности времени и пространства. И хотя произведение написано в июне 1944 года, Орлов видит происходящее словно бы из отдаленного будущего (“Давным-давно окончен бой...”). Близость победоносного завершения войны закономерно обусловила потребность глубокого осмысления исторического подвига народа, сохранения его в памяти живущих.

Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
Ему как мавзолеей Земля –
На миллион веков,
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен бой...
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолеей.

Поэт вновь и вновь обращается к вечной памяти Великой Отечественной войны, через ее призму ищет высокое и героическое в прошлом России, прослеживает связи истории и современности, заглядывает в будущее... Отнюдь не замыкаясь в военном материале, Орлов,

тем не менее, всегда оставался верным военной теме, позволявшей глубже постигать ответственные, напряженные периоды истории нашей Родины, в которых истинным героем выступил сам народ. Поэт смело соединяет образы героев разных эпох, подчеркивая преемственность:

Громяхая тяжкою броней,
Будто витязи седых времен.
Александра Невского герои –
Танковый стрелковый батальон.

(“Танки в Новгороде”, 1944).

Утверждение единства времен – нынешнего и давнего, времен, объединенных мотивом борьбы против недругов, звучит в “Монологе воина с поля Куликова” (1971), близкого к блоковскому “На поле Куликовом”. Орлову, знавшему наизусть множество стихов Блока, была дорога его мысль о том, что знаменитая битва относится к событиям символическим, сыгравшим великую роль в русской истории.

Орлов постоянно напоминал и себе и своим современникам о необходимости полной самоотдачи, об ответственности за все, что происходит в мире, о неоплатном долге живых перед памятью павших:

Не шутки шутим –
На земле живем,
Ее железом били,
Кровью мыли.
И неужели мы с нее уйдем,
Как травы, без следа,
И станем пылью?

(“Ровесникам”, 1972).

В поэме “Командир танка” (1945) поэт говорит о подвиге товарища по школе гвардии лейтенанта Ивана Малоземова. Когда кончились снаряды, он пошел на танковый таран, требующий предельного мужества и силы воли (“На броню пошла в упор броня...”). В поэме своеобразно, диалектически раскрывается тема войны и мира. Картины мирной жизни входят в самое пекло смертоносного боя: “Поднимает парень вологодский На дыбы машину, как коня”; “Вот они стоят, подбиты, рядом, В пламени, как в копнах спелой ржи”; “Дым войны рассеялся над Волгой, Как над Белым озером туман” [3]. Такая соотношение образов войны и мира неизбежно контрастна.

Война враждебна человеку и природе. Стихотворение “Вокруг весна беспутная летела...” (1943) наполнено ощущением трагизма. Торжество жизни, цветение природы контрастирует с противоестествен-

ностью смерти, могилой, в которой недавно похоронен погибший солдат:

Ему теперь ни осени, ни лета,
Не увидеть над самой головой, –
Навек в шинель сосновую одетый,
Он навсегда остался с той весной.

Пейзажные картины у Орлова органически связываются с щемящей любовью и тоской по родному краю, по родине:

Земля летит, зеленая, навстречу,
Звенит озер метелью голубой.
На ней березы белые, как свечи,
Свист пеночки и цветик полевой.
Я землю эту попираю ногами,
К ней под обстрелом припадал щекой,
Дышал ее дождями и снегами
И гладил обожженную рукой.
(“Земля летит, зеленая, навстречу...”, 1977).

Особо следует сказать об одном из самых излюбленных в поэзии Орлова образе костра, который, как отмечает В.А. Оботуров (земляк поэта, исследователь его жизненного и творческого пути), дополняется образом звучащей песни, сочетается с ним [4]. И костер и песня заключают в себе нечто родственное, дух коллективизма. “Песня – что-то вроде костра, Золотому огню сестра” (1943) – так начинает поэт одно из своих стихотворений. На песню все охотно сходятся, она помогает солдату выстоять в ратном труде, придает ему уверенность. Орлов часто пишет о бытовании песни в солдатском кругу (см. стихотворения “Ирландская застольная”, “В танке холодно и тесно...”, “Песня”, “Ах, песни старые, забытые...”, “В землянке”, “Время песне настало...”). Переживания лирического героя песни были созвучны чувствам молодых фронтовиков.

Затрагивая проблему соотношения понятий “поэт” и “война”, Орлов занимает четкую гуманистическую позицию: “В критике принято утверждать, когда говорится о поэтах военного поколения, что их сделала поэтами война. Но это совсем не так. Поэтами рождаются и становятся вопреки войне, а не с помощью ее” [5]. Война для Орлова – не только кровь, страдание, горе. Везде в его стихах присутствует человек с его неистребимой любовью к родине, к семье, к милой русской природе. Стихи Орлова пронизаны органическим и естественным ощущением своей связи с народом, во имя счастья которого воюют с врагом лирический герой поэта и его фронтовые друзья. В его лирическом герое

живет гордое чувство победы, веры в будущее, романтическая открытость, и это чувство не оставляет его даже в дни самых тяжелых испытаний. Все эти помыслы свойственны герою стихотворения “Мой лейтенант” (1963).

В статье “Душой народа озаренная” Орлов писал: “Нравственные, духовные ценности, с которыми Отчизна одолела врага, не должны мяться в мирные дни; они должны быть принципами новой, мирной жизни, потому что в духовном наследстве – сила Родины” [6].

Вспоминаются слова поэтессы Ларисы Васильевой об Орлове: “Он не успел состариться. Я не могу представить его сгорбленным, с палочкой. Образ старости его бы не коснулся. Он перехитрил ее. Пусть ценою жизни. После смерти он стал больше и выше, как это бывает с настоящими явлениями жизни” [7].

Говорят, что мы – поколение
И что этим мы и славны,
Поколение – повелением
Высочайшим самой войны.
Ох как трудно стать поколением!
Если мы бы не стали им,
Все б закончилось поражением
И падением мировым...
И живем мы, ничем не хвастая,
В этом нашей заслуги нет.
Только есть ощущение ясное
Не напрасно прожитых лет.

(“Говорят, что мы – поколение...”, 1952).

Литература

1. Орлов С.С. Собр. соч.: В 3 т. М., 1979–1980. Т. 3. С. 5.
2. Антокольский П.Г. Поэты и время. М., 1957. С. 229.
3. Орлов С.С. Мое поколение. Вологда, 2001. С. 23–31.
4. Оботуров В.А. Костры на ветру. Поэзия С. Орлова. Архангельск, 1982. С. 80.
5. Орлов С.С. Михаил Дудин. Т. 3. С. 141.
6. Орлов С.С. Наедине с тобою. Т. 3. С. 180.
7. Васильева Л.Н. Облако огня. М., 1988. С. 134.

Что это значит – вертикаль власти?

© Т. М. ВЕСЕЛОВСКАЯ,
кандидат филологических наук

“Лучшая власть та, о которой народ знает лишь то, что она существует”, – гласит народная мудрость. Но вот уже два десятилетия, отмеченных формированием новой системы ценностей в государственной политике и кардинальным изменением в системе политической коммуникации, действия российских властей находятся в фокусе повышенного социального внимания. В существенно обновленном “лексиконе власти” с начала 90-х годов появились фразеологизм *вертикаль власти* и его трансформации *властная вертикаль* и *вертикальная власть*. Все они часто встречаются на страницах современных газет и журналов. В новейших социолингвистических и лексикографических трудах эти фразеологизмы, однако, не зафиксированы [1; 2; 3]. Как метафорическое, словосочетание *вертикаль власти* представлено в “Словаре русских политических метафор” [4].

Современная система терминов, относящихся к сфере власти, не отличается стилистической одноплановостью, а иногда и содержательной четкостью: одни из слов являются в ней иноязычными, другие принадлежат к внутренним заимствованиям, например из пассивного словарного запаса. В прессе одного и того же представителя власти называют то *мэром*, то *губернатором*; слово *губернатор* используется как синоним к слову *префект* и т.д. [5]. Читатели, безусловно, остро ощущают ошибки и неточности в употреблении таких наименований.

Образованный на основе метафоризации фразеологизм *вертикаль власти*, как всякая словесная находка, активно воспроизводится в современном газетно-публицистическом дискурсе (в газете “Коммерсант” есть даже рубрика новостей с таким названием). Но вот характерное признание россиянина в ответ на вопрос фонда “Общественное мнение”: “Что это значит – вертикаль власти, до меня не доходит. Это сугубо профессиональный термин политиков и журналистов. Вертикаль представляю, а смысла не пойму” (Русский журнал. 2001. 23 марта).

В метафоре как “приеме извлечения нового знания из старого лексикона” проявляется способность говорящего к улавливанию сходства между различными классами предметов, и понимание смысла метафоры – это обнаружение специфики ее семантической двуплановости [6].

Словом *вертикаль* со значением пространственной ориентации называют вертикальную, т.е. отвесную, перпендикулярную по отноше-

нию к горизонту линию. Обычно его и слово *горизонталь* считают антонимами, хотя, строго говоря, они таковыми не являются, как и пары слов *параллель* – *перпендикуляр*, *вдоль* – *поперек*, *широта* – *долгота* и др., поскольку “называют линии пути, положения, пересекающие друг друга под прямым углом, а не противоположно направленные” [7].

С помощью понятий *вертикальный* и *горизонтальный* часто образно представляют предмет научного знания. Так, в теории государства и права координативные отношения между правовыми субъектами, формально находящимися в равном положении и сохраняющими свою свободу и самостоятельность (например, имущественные в гражданском праве), рассматриваются как *горизонтальные*. Субординативные же отношения с соподчиненным положением сторон считаются *вертикальными* (с сфере административного права это отношения между государственным аппаратом, с одной стороны, и гражданами, организациями, учреждениями – с другой).

В экономической теории на основе тех же различий выделяются европейский и азиатский типы обмена продуктами деятельности. При первом – *горизонтальном*, существует эквивалентный обмен, основанный на законе стоимости. *Вертикальный* рынок является неэквивалентным, редистрибутивным, и предполагает изъятие внеэкономическими, властно-политическими методами продуктов деятельности и последующее их перераспределение. В экономике слово *вертикальный* употребляется и в составе некоторых терминов [8]: при *вертикальной концентрации капитала* в одной фирме сосредоточиваются последовательные стадии производства; *вертикальной интеграцией* называют включение одних отраслей хозяйства, предприятий в качестве подчиненных в состав других, организующих, направляющих их деятельность, и т.д.: «Башкирская топливная компания была образована в 1998 году как вертикально интегрированный холдинг со стопроцентной госсобственностью. Минимущество Башкирии передало в ее уставный капитал госпакеты акций “Башнефти” и “Башкирэнерго”» (Коммерсант. 2005. 2 марта). Использование в таких случаях слова *вертикаль* авторы “Большого словаря русского жаргона” [9] считают принадлежностью речи промышленников и предпринимателей.

Возможно, именно от этих социальных наук и получен динамический импульс для образования метафоры *вертикаль власти*. Предпосылкой мог послужить и тот внеязыковой факт, что между *федеральной, региональной и муниципальной* властями установлены субординативные отношения и о них говорят как об *уровнях* власти. В то же время *исполнительная, законодательная и судебная* власти теоретически независимы друг от друга и их называют *ветвями* власти.

Понятие *вертикаль*, образующее первый смысловой центр метафоры, А.Н. Баранов и Ю.Н. Караулов [4] относят к метафорической модели “геометрия” наряду с другими тематически связанными источни-

ками метафорических значений (*грань, круг, пирамида, центр* и под.). Второй ее смысловой центр представляет собой объект метафорического осмысления – *власть*. Поэтому в общественно-политических текстах словосочетание употребляется с единицами других моделей, также метафорически интерпретирующих власть, в первую очередь, моделей “пространство” и “строение”. Эти связи в значительной степени определяются историческими и культурными традициями общества.

Принадлежащее к числу важнейших в русской культуре противопоставление социального *верха* и социального *низа* [10; 11] в постперестроечный период тоже сохраняет свою актуальность и отражается в лексико-семантической системе русского языка. О.П. Ермакова называет его “социальным делением по вертикали” [12]. Неслучайно использование метафоры *вертикаль власти* влечет за собой и выбор метафор *верха* и *низа*. Причем *верхом* могут считать всю систему власти, противопоставляя ее *низу* – народу: «В отличие от тоталитарного принципа государственного устройства, демократическим обществам свойственна большая зависимость “верха” (вертикали власти) от “низа” – через реальные выборы и судебную систему» [5. С. 166].

Верх и *низ* обнаруживают и внутри системы вертикально организованной власти: “В 1996 году Потанин стал первым вице-премьером правительства. Никто из крупных предпринимателей не поднялся выше по вертикали власти” (АиФ. 2005. 4 мая); “В условиях огосударствления пространства все уровни иерархии власти копируют один другой, и власть доходит до самого низа. В провинциальной глубинке бросается в глаза обилие районных чиновников. Вертикаль власти упирается в такую глушь, что занимает там в госучреждениях чуть не все население” (Русский журнал. 2005. 2 февр.).

Комический герой В.М. Шукшина из рассказа “Штрихи к портрету” описывал государство как многоэтажное здание, все этажи которого прозваниваются и сообщаются лестницами. Причем этажи постепенно сужаются, пока не останется наверху одна комната, где и помещается пульт управления. Понятия *этажей, лестниц, фундамента, надстройки, несущих опор* и т.п., актуальные для области социально-политических метафор, представляющих общество в виде здания, строения, также достаточно регулярно воспроизводятся в газетных публикациях о *вертикали власти*: ““Вертикаль власти должна стать несущей конструкцией национального проекта”, – подчеркнул Г.А. Зюганов» (Сов. Россия. 2005. 7 февр.); “Делегирование регионам дополнительных компетенций – это вовсе не результат административного зуда. На всех этажах власти нужно нести ответственность за сделанное”, – объяснял Путин губернаторам» (Коммерсант. 2005. 6 июня).

О вертикали власти говорят в терминах *строительства, выстраивания, разрушения*, используя глаголы и отглагольные существительные соответствующих семантических групп: “Госдума приняла в пер-

вом чтении закон о порядке избрания глав российских регионов. В итоге – вертикаль власти будет отстроена окончательно” (АиФ. 2004. 2 нояб.); “Крепкая вертикальная власть – это хорошо. Однако известен опыт 1991 года, когда неожиданно развалился вертикальный и централизованный Советский Союз” (Рос. вести. 2005. 28 сент.).

Отстроенная вертикаль власти *стоит*, но может даже *упасть*, *рухнуть* или быть *опрокинута*: «В регионах с пониманием относятся к “сужению демократии”. Близкий к “Единой России” полковник в запасе Швыткин отчеканил: “Чтоб тверже вертикаль стояла, нужно еще и глав районных администраций назначать!» (АиФ. 2004. 29 сент.): “Вертикаль власти не упала, но получила очередной удар” (Лит. газета. 2003. 6 авг.); “Возьмет и рухнет вертикаль, и погребет всех нас, дисциплинированных граждан встающей с колен страны, под своими обломками” (Огонёк. 2005. № 52).

Поскольку подобная модель власти для России не нова и, вероятно, на данном этапе развития государства считается наиболее приемлемой, в контекстном окружении метафоры встречаются глаголы *восстановить*, *ужесточить*, *укрепить*, *усилить*, *упрочить* и их производные. По той же причине в сферу сочетаемости с фразеологизмом *вертикаль власти* вовлекаются и прилагательные *жесткий*, *крепкий*, *сильный*, *твердый*.

При активном употреблении метафоры двуплановость ее значения может постепенно стираться, а образность угасать. Фразеологизм *вертикаль власти* часто встречается не только в газетно-публицистических текстах, но и в официальных речах государственных деятелей, и в этом, казалось бы, можно видеть его движение в сторону ресурсов терминологической номинации. Но за пределами официальных текстов проявляется его экспрессивная энергия. И хотя в семантике составляющих метафоры оценки не содержится, она становится основой для пародирования, вышучивания, ёрничества: “Нашим чиновникам нужна не вертикаль, а большая дубина”, – пишет в редакцию газеты читатель (АиФ. 2005. 13 апр.). В прессе для языковой игры избирается прежде всего позиция заголовка: “Вертикаль власти скрипит, и ее смазывают” (Новая газета. 2004. 26 апр.); “Вертикаль власти уперлась в дачи” (Новая газета. 2003. 21 июля); “От суровой руки вертикали не спасают даже прежние заслуги” (Независимая газета. 2004. 26 апр.).

Авторы подвергают фразеологизм разнообразным трансформациям с участием слов из метафорической модели “геометрия”, особенно слова *горизонталь*. Так возникают новые метафоры для оценки социально-политической ситуации: “Диагональ власти” (Моск. новости. 2005. 3 июня); “Вертикаль власти стремительно переходит в пунктир” (Лит. газета. 2003. 4 нояб.); “Кто сколько стоит: властная вертикаль и народная горизонталь” (АиФ. 2005. 7 июня); “Вертикаль власти по всей горизонтали” (Моск. комс. 2004. 30 нояб.).

Иногда метафора *вертикаль власти* становится образным сигналом для создания целых текстов – от иронических до саркастических, выполняя в них роль ключевого компонента. Автором таких текстов часто является не только журналист. Поскольку шаги, направленные на централизацию власти, не всегда последовательны и неоднозначно воспринимаются в обществе, публикации на данную тему, как правило, полемичны, что побуждает апеллировать к мнениям людей, жизненный опыт и репутация которых позволяют ожидать нетривиальных суждений. Вот фрагмент газетного интервью с артистом М. Задорновым: “– По-моему, вертикаль должна сначала людей накормить, а потом их строить, чтобы у народа чувство осталось, что он хорошо живет... Сегодняшняя власть – это только переход к чему-то обнадеживающему. Только между 2008 и 2012 годами должны появиться ростки национальной идеи благодаря тому, что у нас еще много людей, стремящихся к духовной вертикали, а не к вертикали власти” (Комс. правда. 2001. 31 дек.).

Господство негативной оценочности в таких текстах, с одной стороны, связано с общим свойством современного публицистического стиля – преобладанием в нем не столько критической, сколько разоблачительной информации, “когда в оценках не стесняются, о ком бы ни шла речь” [13]. С другой стороны, журналистами нередко культивируется мысль о чуждости, враждебности власти народу, что сопрягается с отрицательной оценкой как самой власти, так и любых ее действий.

Фразеологизм *вертикаль власти* образован по двучленной генитивной метафорической модели как наиболее типичной, но на фоне заметной активности с начала 90-х годов XX века процесса производства относительных прилагательных [1, 124] возникла и модель с адъективом, хотя в отличие от уже имеющихся параллелей типа *структуры власти* – *властные структуры*, *механизмы власти* – *властные механизмы* и под., с относительным прилагательным образовалось два устойчивых сочетания – *властная вертикаль* и *вертикальная власть*. В русле общей тенденции к вербальному обновлению в газете появилось и множество ассоциативно-семантических преобразований фразеологизма. *Вертикалью власти* первоначально называли систему подчинения низших уровней исполнительной власти высшим, поэтому вскоре в употребление вошли как синонимы словосочетания *исполнительная вертикаль* и *вертикаль исполнительной власти*: “Мы поставили цель: построить четко работающую исполнительную вертикаль” (Послание Федеральному собранию президента России от 3 апр. 2001).

В 2004 году, после преобразования структуры российского правительства, в газете (АиФ. 2004. 13 апр.) была помещена схема, отражающая ее, с заголовком “Вертикаль исполнительной власти Российской Федерации”. Семантика фразеологизма в этом случае сужается: он обозначает устройство только одного – высшего – уровня исполнитель-

ной власти. Но одновременно стало функционировать и словосочетание *правительственная вертикаль*. С другой стороны, сочетаемость свидетельствует и о фактах расширения семантики метафоры. О *вертикали власти* говорят применительно к уровневой системе управления в любой сфере деятельности общества: “Острая необходимость информационной вертикали власти” (Лит. газета. 2004. 4 нояб.); “После того как в Союзе кинематографистов, упреждая государственную модель, выстроилась вертикаль власти и общения, я отошел в сторону. Допускаю, что в государстве она нужна для какого-то единения, но у себя в Союзе мне хотелось бы общаться по горизонтали” (Из беседы с режиссером Н. Досталем. Моск. новости. 2004. 22 окт.).

Очевидная мода на слова *вертикаль, вертикальный, вертикально*, принадлежащие сейчас к числу ключевых слов эпохи, ведет к появлению все новых сочетаний с ними, в том числе и за пределами данной семантической сферы. В прессе появились *вертикальная страна, вертикальная Россия, вертикальная ответственность, вертикальная коррупция, вертикальное государство, вертикальное перемещение, вертикальный режим, вертикальный руководитель, вертикальный чиновник* и даже *вертикальный холуяж, вертикальные связи организованной преступности, вертикальное озеленение*. Иногда они вступают в сочетания вопреки законам смысловой связи слов. Особенно часто встречаются конструкции с речевыми излишествами: *вертикальная иерархия*; “В России каждый чиновник привык смотреть вертикально вверх: чего изволит начальство” (АиФ. 2005. 27 апр.).

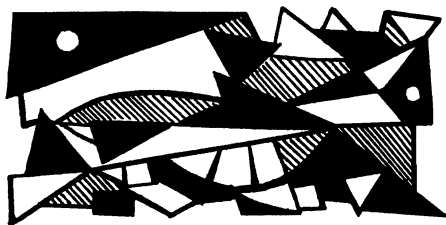
Таким образом, *вертикаль власти* – это управленческая модель, основанная на максимальной централизации. Существительное *вертикаль* в соответствующем фразеологизме приобретает значение “система органов власти от нижестоящих по подчиненности и наоборот”, а прилагательное *вертикальный* в составе фразеологизма *вертикальная власть* – “охватывающий органы власти от нижестоящих по подчиненности к вышестоящим и наоборот”. Подобные значения отмечены у предположительно-падежного сочетания *по вертикали* и прилагательного *вертикальный* применительно к системе подчиненности предприятий, учреждений, органов, организаций или лиц как переносное, развившееся на основе первичного “с направлением сверху вниз или снизу вверх” [14].

Литература

1. Русский язык конца XX столетия (1985–1995) / Отв. ред. Е.А. Земская. М., 2000.
2. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. СПб., 1999. С. 145–207.
3. Складаревская Г.Н. Толковый словарь русского языка конца XX столетия. Языковые изменения. СПб., 1998.

4. Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. Словарь русских политических метафор. М., 1994. С. 1.
5. Современный русский язык. Социальная и функциональная дифференциация / Отв. ред. Л.П. Крысин. М., 2003. С. 261.
5. Арутюнова Н.Д. Языковая метафора (Синтаксис и лексика) // Язык и мир человека. М., 1999. С. 358.
7. Апресян Ю.Д. Лексические антонимы // Избр. труды. Т. 1. М., 1995. С. 298.
8. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М., 1997. С. 47.
9. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русского жаргона. СПб., 2001. С. 94.
10. Успенский Б.А. Избр. труды. М., 1994. С. 245.
11. Купина Н.А. Тоталитарный язык. Екатеринбург, 1995.
12. Русский язык / Ред. Е.Н. Ширяев. Оrole, 1997, С. 134.
13. Сиротинина О.Б. Современный публицистический стиль речи // Русистика. 1999. № 1–2. С. 9.
14. Словарь новых слов русского языка (1950–1980). Под ред. Н.З. Котеловой. СПб., 1995. С. 12.

Росток,
Германия



От связей с общественностью к коммуникологии

© Н. И. ХАЛИН,
кандидат исторических наук

Существует мнение, что *связи с общественностью*, или, с английского, “паблик рилейнз” (public relations), заимствованы российскими специалистами исключительно из практики США и что они представляют у нас новый опыт человечества.

Однако “связи с общественностью” различаются как коммуникационный процесс, в котором участвуют различные контр-агенты – носители прямых и обратных связей, и как специальность, как практика подготовки профессионалов для создания информационно-коммуникационных потоков, различающихся по своим целям и содержанию.

С исторической точки зрения коммуникационными акциями были, например, инструментарий продвижения Гая Юлия Цезаря к власти, программа создания первой политической газеты “Искра” и политический процесс в России начала XX века, “Новый курс” президента Ф.Д. Рузвельта, подлинно коммуникационная эпопея в пользу сельского хозяйства, осуществленная в I веке до Рождества Христова, формирование антигитлеровской коалиции в период Второй мировой войны, международные акции в защиту мира и против угрозы атомной войны в послевоенный период...

Однако еще в 1971 году в Советском Союзе вышла книга Н.Г. Зяблукса “Индустрия управляемой информации” с анализом современного опыта “паблик рилейнз”.

Что касается специальности “Связи с общественностью”, то она действительно складывается в постсоветской России с учетом американского и европейского опыта, хотя и с недооценкой собственно российского подхода в сфере массовой информации и коммуникации. Про-

дуктивнее было бы работать с учетом российской исторической традиции.

Что такое “паблик рилейшнз”, большинство из нас узнали из книжицы Сэма Блэка, изданной в Москве в 1990-м году. Один из соотечественников написал в брошюре весьма экстравагантную фразу: “PR в СССР, как и с е к с а, не было” [1]. (Здесь “PR” – сокращение от английского “public relations”, т.е. общественные связи, отношения, коммуникация.) Кстати, по-испански, да и по-французски было бы наоборот – “RP – relationes publicas, relations publiques” (Notabene: сокращение PR на родине латыни означает *Populus Romanus*). Цитата же любопытна несочетаемостью сопоставляемых понятий. Не случайно в студенческой аудитории она вызывает оживление и смех.

Практически в каждой стране для “паблик рилейшнз” имеются языковые эквиваленты. Дотошные испанские эксперты обратились в академию с предложением утвердить термин для обозначения квалификации специалиста: *Relacionista*.

Известный эксперт ЮНЕСКО, руководитель Школы коммуникации Центрального университета в Каракасе Антонио Паскуали еще в восьмидесятые годы писал в корпоративной газете “Комуникасьон” о подготовке *коммуникологов* (квалификация: *comunicologo*, коммуниколог) – профессионалов широкого профиля в области массовой информации и связей с общественностью. На наш взгляд, этот опыт достоин изучения.

Для профессионалов “Паблик рилейшнз” – предмет, специальность, явление. Запомним, что определяющей является *коммуникация* – по наличию серьезных теоретических оснований.

Переводной термин *связи с общественностью* вошел в обиход еще в советской прессе в 60-е годы, а с начала 70-х *связи с общественностью* заинтересовали московских исследователей и начали обосновываться как научная категория. Термин правильный и ясный, и ясная цель постоянно стоит перед профессионалами: выявляйте “свою” общественность, сотрудничайте с ней. Разумеется, это не всегда легко. Однако давно созданы центры, комитеты общественных связей, пресс-службы, информационно-аналитические отделы, где с разной долей успешности трудятся приверженцы информационно-пропагандистской деятельности в стремлении добиться ожидаемого результата.

Безымянный переводчик книги С. Блэка “Паблик рилейшнз. Что это такое?”, ставшей, впрочем, хрестоматией, вводит сокращение “ПР”, возможно, по аналогии со “СМИ”. Но средства массовой информации – достаточно конкретное понятие, чего не скажешь о связях с общественностью – многоликой коммуникации по определению. Они прежде всего интересуют нас как специальность. А где же мы видели, чтобы название специальности сужалось до его начальных букв? Хорошо будут профессионалы, которые в собственной сфере перейдут к ра-

бочей практике буквенных сокращений, междометий. Разумеется, внедрение новой специальности в большой стране не прошло так гладко. Без привычки новая одежда создавала определенный дискомфорт. Чтобы не отстать, наши современные “славянофилы”, желая *калоши* все-таки заменить *мокроступами*, вводят сокращение ССО (ЭСЭСО или СО). Один профессор признался, что поэтому иногда называет студентов “эсэсовцами”. Приходится только сожалеть о том, что эта неуклюжая аббревиатура популярной специальности может у кого-то вызывать подобные ассоциации в нашей стране, победившей фашизм.

Сэм Блэк рекомендует “четко разграничивать пэблик рилейшнз и пропаганду” [2]. Следуя этим рекомендациям, данная тема вводится в учебные программы, в тесты, в регламенты встреч. Однако следовало бы эффективнее проводить разграничительную черту между пропагандой и... “пропагандой”. Слово латинского происхождения (*propagare* – распространять), его значение определяется контекстом, содержанием и направленностью проводимых акций. Для нас ясно, что дозы агитации и пропаганды присутствуют и соотносятся в любом общественно значимом коммуникационном процессе. А “грязный пиар” и “черная пропаганда” друг друга стоят и осуждаются общественным мнением в одинаковой степени.

Практика употребления иностранных букв и сокращений, особенно без меры, в русском тексте становится невыносимым бременем, когда за буквами *PR* (*ПР*, *СО*, *Пи-аР*) прячут понятие, которое непосвященному вообще ничего не говорит. Мы знаем, что хорошими помощниками в подобных спорах являются толковые словари. Но и словари, на наш взгляд, тоже иногда спешат спорное, неустоявшееся утвердить как норму.

Так, словарь (90 тыс. единиц), вышедший в 2001 году в издательстве “Норинт” (переиздан в 2004 году ИД “Ридерз дайджест”) под редакцией С.А. Кузнецова помещает без какой-либо пометы статью “Пи-ар, -а; м., от англ. *PR* (*public relations*) – связи с общественностью”.

Возникает логический вопрос: если *пиар*, *PR*, *public relations* раскрываются через понятное нам образование *связи с общественностью*, какая нужда в нагромождениях иностранных и русских букв? В этом же словаре в статьях “Связь” и “Общественность” об интересующем нас предмете уже упоминания нет.

Как мы знаем, общественность составляют работники, партнеры, потребители, но в зависимости от характера и задач акции, обстоятельности коммуникационной кампании под общественностью мы можем понимать всю нацию, предпринимательский сектор, социально незащищенные слои населения, сельских жителей, автолюбителей и пешеходов, занятых в малом бизнесе членов общества, молодежь и т.д. И нужно обладать солидными знаниями и практическим опытом, чтобы в каждой коммуникационной кампании обращаться именно к своей ауди-

тории потребителей с необходимой ей информацией и наиболее адекватными средствами.

Несмотря на то, что по замыслу и согласно принятым международным этическим кодексам, основой деятельности в области *публичных отношений* являются благородные цели (поиски согласия, создание гармоничных отношений в обществе, развитие многосторонних коммуникативных связей, постижение истины, служение правде), в России 90-х годов, да и позднее, имеют место и осуждаемые “грязные технологии”, получившие, как ни странно, свое графическое оформление все в тех же “номинациях”: “PR” или “пиар”. Нередко приходится слышать и читать: “грязный PR”, “черный пиар”, “пиар – на крови”, “это обычный пиар”, “у тебя что – любовь или пиар?”, “Разве может быть благое дело пиаром?”, “пиаровская дурацкая злонамеренная шутка”, “PR-Санкт-Петербург” и так далее). То есть в СМИ, в массовом сознании россиян за пристрастно озвученной аббревиатурой “PR” возникает образ неправомерной деятельности, клеветы, нечестных поступков, попросту грязи. Всегда недоброжелательный, неодобрительный контекст! Возможно, кто-то даже вспоминает иррациональное число π ($\approx 3,14$) и радиус R на школьных уроках математики.

Можно ли в таком случае считать удачными “лексические единицы” типа *PR-текст, PR-действительность, PR-акция, PR-услуги, PR-отдел, PR-план, PR-исследование, PR-проект, PR-ассоциация, PR-образование* и даже... *PR-студенты и PR-молодежь*, которыми пестрит издаваемая литература?! Словно шляпки несъедобных грибов выглядывают латинские буквы в массивах русских текстов, призванных быть доходчивыми и убедительными.

«Что такое “PR-задача?”», – спрашивает автора этих строк адресат в глубинке, получив письмо из Учебно-методического совета МГИМО. Люди не понимают пустой абстракции. Вырастает проблема герметизма в обширной сфере массового интереса.

Хорошо ли в этом контексте звучат названия книг и пособий: “Пиар крупных российских корпораций”, “Расцвет пиара и упадок рекламы”, “Политический PR”, “Русский (!) PR в бизнесе и политике”, “СМИ и PR в Болгарии”, “Паблсити жми сюда PR”, “Приемы рекламы и Public Relations” или “Все о PR”, а еще проще “PR”. Или: об ученом пишется, что он занимается “теорией пиара”. Здесь даже не идет речь о варваризмах или о чистоте русского языка, хотя, на наш взгляд, и этим давно пора заняться всерьез. Ведь обычно текст, предназначенный для широкого использования, печатается на одном языке; только у нас конференцию можно назвать опять же столь неинформативно: “PR в России...”

На конференции в Тамбове мы спросили представителей широко известного в стране издательства: “Почему под грифом Издательства выходят русские книги, столь засоренные иностранными буквами?” Ответ: “В издательской компании нет научных редакторов”. Откроем

книгу, вышедшую в другом издательском учреждении. В предисловии двух докторов наук, обозначенных как научные редакторы, на одной странице PR повторяется 24 раза! Тут уже не до проблем и специфики!

Как уже было показано, в научной и учебной литературе по данному предмету бытует размашистая терминологическая какофония. Представьте себе положение бедных студентов! В дипломных, курсовых работах на одной странице сосуществуют весьма разнообразные обозначения: *ПР*, *СО*, *ССО* (*СсО*), *PR*, *Пи-аР*, *пиар* (отсюда – *пиармэн*, *пиарщик*, *РРовский*, *РРофком* и пр.). Почему *реклама* пишется по-русски, а *связи с общественностью* – в виде символа латинских букв *PR*, “ведущие специалисты” внятно объяснить не могут.

Уже в приемной комиссии некоторых вузов абитуриенты знакомятся с агитационной литературой типа “Время *PR*”, мелькают не знакомые школьникам фразы: “региональный *PR*”, студенческое *PR*-агентство “*СО*-творение” и газета “*PR*знание”, конкурс “*PR*оба”... Такие гибридные агитки-фетиши приводят поначалу в шок молодых людей, написавших заявление на объявленную специальность “Связи с общественностью”. Далее – по схеме “стерпится-слюбится”.

Еще более горестно, когда и предмет, и специальность, и само понятие “связи с общественностью” под грифом “*PR*” фетишизируют университетские профессора. Так, в брошюре “Актуальные проблемы и направления *PR* Кубани” [3], изданной в Краснодаре, помещен обзор исследований и материалов местных авторов, в котором феномену *PR* приписываются огромные достижения в развитии экономики, становления гражданского общества, борьбе с терроризмом, контроле над СМИ и даже совершенствовании родного языка. Продемонстрированный “новаторский” подход даже потребовал изменений многих “концептов теоретизации” вплоть до русской орфографии. Обзор “Новые рубежи кубанского *PR* и пиар против террора” разделен подзаголовками: *PRограмма диалога*, *PRеодоление инерции*, *PRоверка СМИ*, *PRогноз PRибыли*, *PRеподавание*, *PRостранство политики*, *PRоникновение в язык*, *Эпизод как PRолог* и, разумеется, “окрашенные” *PRимечания*. Хорошо знакомые нам слова авторы преобразуют в “неологизмы”: *пиарограмма*, *пиареодоление*, *пиаространство*, *пиароверка*, *пиарогноз*, *пиаримечания*, *пиаризнание*, *пиарибыль*, *пиареподавание*, *пиаролог*, *пиароба*, *пиарофком* и т.д. Так что “калоши” остались далеко позади! Находки таковы, что Тургенев с Маяковским позавидуют! Такие вот могущественные *PR* и такие вот серьезные проникновения в язык науки и практики...

Переводы книг по теме на русский язык нередко выполняются на низком профессиональном уровне. Терминологический запас скуден. Неряшлив текст, когда кириллица и латиница идут вперемешку. На странице русского повествования порой до 30 раз употребляется пара знакомых латинских букв – свидетельство авторской и концептуальной беспомощности и бесплодности.

Не в традициях общественных связей герметизировать текст! Вспоминается подзабытое высказывание о смеси нижегородского с французским. Наименование попросту заменяется кличкой, просторечной конструкцией. Старшее поколение еще помнит лозунг “Даздраперма!” (Да здравствует Первое мая!).

Для разрешения терминологического кризиса мы призываем к академической дисциплинированности, следованию традиции, ГОСу, и выдвигаем альтернативный вариант: формирование *Коммуникологии* как еще одного ответвления в кроне современного гуманитарного дерева науки. С легкой подачи автора, этот термин подобно игре золотой рыбки, правда, кокетливо-робко всплывает время от времени, нарушая тишь да гладь океанских глубин уже признанной общественной науки. Итак, *коммуникология*! Сложное слово, каких в русском словаре множество (*Коммуникация* от лат. *communicatio* – путь сообщения, форма связи, акт общения + *логия* от греч. *logos* “слово, понятие, учение” – вторая часть двусоставных слов, соответствующая по значению словам *наука, знание*, например, *биология, филология* и пр.).

Введение этого благозвучного и образованного по известной схеме термина позволило бы *связям с общественностью* уйти от пометы на стандарте “мжд/сп”, т.е. *связи с общественностью* перестали бы регистрироваться среди междисциплинарных специальностей и заняли бы свое достойное место в содружестве таких авторитетных представителей гуманитарной мысли, как социология и политология, которые еще недавно были нежеланными, неприемлемыми и гонимыми. В этом случае специальность и ее носитель получили бы соответственно наименование: *коммуникология* и *коммуниколог*. Кратко, логично!

Коммуникология как сфера обширной научной и практической деятельности смогла бы успешно использовать необходимую ей часть гуманитарного и естественно-научного академического опыта. Ведь уже освоенные специализации связей с общественностью тесно соприкасаются с экономикой и банковским делом, информатикой и телекоммуникационными технологиями, сферами производства, торговли и социального обеспечения, политикой и управлением, юстицией и культурой, здравоохранением и спортом, экологией и метеорологией, СМИ и наукой как отраслью и т.д. Становится понятным, что без специальных знаний заниматься информационной политикой в ряде специальных областей современной общественной практики весьма проблематично.

Разумеется, сокращенное название специальности *связи с общественностью*, особенно ее латинское начертание в русском тексте, представляет само по себе крупную нелепость. Грязные технологии, к сожалению, не изжиты, но, по крайней мере, академическая практика не может принимать их как норму и обязана от них отмежевываться, и прежде всего, терминологически.

Несколько лет назад при участии президента РАСО С.Д. Беленкова были определены должности для дипломированного специалиста: консультант, менеджер, начальник отдела, заместитель директора по связям с общественностью, в то время как учебная литература потчует нас в основном угрюмой кличкой “пиарщик”... Нам кажется, что отклик государства на эту инициативу был положительный. Однако если внимательно посмотреть на отражение общественной практики таких кампаний, как: “монетизация льгот”, новые правила дорожного движения, удвоение ВВП, реформы в различных областях, можно сделать вывод: *связи с общественностью* в РФ стоят в стороне от разрешения крупных проблем развития страны и общества, а потому входят в полосу кризиса, и опять встают вопросы: кто виноват? и что делать? Ведь могут остаться в стороне от рынка труда многочисленные выпускники модной и востребованной специальности... Это важная практическая проблема.

Пишущий эти строки считает единственно правильным придерживаться названия специальности и квалификации специалиста в соответствии с утвержденным Государственным стандартом высшего профессионального образования: “Связи с общественностью”, “Специалист по связям с общественностью”. Что касается терминов “коммуникология” и “коммуниколог”, они предлагаются автором как альтернатива возникшему терминологическому тупику и как перспектива дальнейшего развития.

Нам еще предстоит изучать сложный процесс коммуникации вширь и вглубь, не забывая о том, что специальность является междисциплинарной, а это открывает безграничные возможности для терминологического творчества на основе смежных наук. Кроме того, нельзя рассматривать любую промежуточную проблему по отношению исключительно к титульному наименованию. Пока что весь наш кругозор ограничивается сумрачным обозначением “PR”, в то время как национальный коммуникативный процесс развивается вне нашего позитивного влияния.

Нам пригодятся слова и понятия смежных сфер науки: лингвистики, журналистики, социологии и психологии массовой коммуникации, коммуникационного менеджмента, коммуникационного консалтинга и маркетинга (ведь и СМИ сформированы отделы общественных связей), а также терминологии, возникшей из практики специализаций (экономика, государственное строительство, бизнес и банковское дело, культура, образование и наука, здравоохранение, социальная сфера, экология, массовая физическая культура и спорт).

Не превращайте специальность в чахлое дерево ремесел, а специалистов в персонажей вестерна!

Отдав многие сотни часов практике координации учебных планов в УМО, подготовки в условиях открытости и обсуждения соответствующ-

щих стандартов, мы хотели бы надеяться, что наши замыслы и усилия принесут хорошие плоды и что этот вопрос будет, наконец, рассмотрен на научно-практических конференциях специалистов. Это необходимо, если мы рассчитываем на успех новой, интересной и востребованной специальности в условиях российской действительности.

Литература

1. *Мурашко Ю.М.* Организация работы департамента по связям с общественностью. Уч. пособие. СПб., 2002. С. 5.
2. *Блэк Сэм.* Паблик рилейшнз. Что это такое? М., 1990. С. 19.
3. Актуальные проблемы и направления PR Кубани. Мир PR Кубани: новое поколение (материалы 2-й Межрегиональной научно-практической конференции). Краснодар, 2003.

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ РУССКОГО ЯЗЫКА: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

© Н. С. ГРИШИНА

Безупречное владение русским языком – непростая задача не только для людей, изучающих русский язык как иностранный; зачастую трудности в произношении, написании, словоупотреблении испытывают и те, для кого русский язык является родным. А значит, одним из важнейших направлений деятельности различных лингвистических учреждений и организаций должно быть создание и развитие справочных служб по русскому языку, которые оказывали бы помощь носителям языка в случае возникновения у них подобных трудностей.

Почему же существует такая большая потребность в справочных службах русского языка, ведь все спорные вопросы, казалось бы, должны снимать официально действующие “Правила русской орфографии и пунктуации”, а помочь всем, кто хочет правильно говорить и писать по-русски, могли бы справочные пособия по русскому языку, издаваемые сейчас в огромном количестве? Но ситуация такова, что современное русское правописание находится в очень непростом положении. “Правила русской орфографии и пунктуации” были приняты в 1956 году, ровно полвека назад, и во многом устарели. В современном русском языке появилось много слов, типов слов и конструкций, написание которых никак не регламентируется “Правилами”. Кроме того, некоторые предписания, сформулированные в 1956 году, носили идеологический характер, и сейчас следование им уже неуместно. Сам текст “Правил” давно стал библиографической редкостью, и найти его сейчас можно только в крупнейших библиотеках и на некоторых интернет-ресурсах, посвященных русскому языку. А в фактически заменивших “Правила” 1956 года справочниках по русскому правописанию для работников печати (в первую очередь справочниках Д.Э. Розенталя и А.Э. Мильчина) нужных рекомендаций нет вовсе, а если и есть, то зачастую они противоречат друг другу. Вот с такими проблемами сталкиваются сейчас многие носители языка, в первую очередь – редакторы, корректоры, журналисты – люди, которым по долгу службы приходится работать с текстом, осуществлять его правку.

В этих условиях многие авторы не хотят брать на себя ответственность и самостоятельно решать спорные вопросы русского правописания, а стремятся найти авторитетный источник. И хотя в ряде случаев

таким авторитетным источником может стать мнение коллег или начальника, все же для многих носителей языка последней инстанцией является мнение лингвистов, и именно поэтому они обращаются в справочные службы по русскому языку. Сейчас таких служб, к сожалению, не очень много, но среди существующих наибольшей популярностью пользуются Телефонная справочная служба по русскому языку Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН и Интерактивная справочная служба по русскому языку справочно-информационного интернет-портала ГРАМОТА.РУ. Хотелось бы рассказать о них подробнее.

Телефонная справочная служба по русскому языку была основана в Институте русского языка Академии наук СССР еще в середине прошлого века, в 1958 году, по инициативе выдающегося филолога Сергея Ивановича Ожегова. Поводом к ее созданию послужило огромное количество поступающих в Институт запросов от организаций и частных лиц, при этом носители языка не только интересовались вопросами правильного произношения и написания слов, происхождением фамилий, имен и географических названий, но и сообщали об обнаруженных в газетах и журналах опечатках, о речевых ошибках, которые допускали работники радио и телевидения. Для оперативного реагирования на обращения граждан и была создана телефонная справочная служба по русскому языку. Первоначально режим работы службы был следующим: на поступающие по телефону вопросы отвечал дежурный аспирант, а в особо сложных случаях разъяснения давали научные сотрудники Института. Со временем число работников справочной службы значительно возросло и достигло 15 человек, а номер телефона, по которому можно было получить ответ на любой вопрос по русскому языку, стал известен по всему Советскому Союзу.

Следует отметить, что справочное бюро Института русского языка Академии наук СССР было не единственным проектом, ориентированным на ответы на вопросы по русскому языку. Такие же функции выполняли некоторые теле- и радиопередачи, а также печатные средства массовой информации. Так, одной из самых популярных радиопередач, посвященных русскому языку, была передача “В мире слов” Главной редакции литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, которая выходила в эфир в течение 34 лет, с 1962 года по 1996 год, два раза в месяц по воскресеньям. Эта передача занимала особое место в программах Всесоюзного радио. Она целиком строилась на письмах и вопросах радиослушателей, касающихся норм русского языка, истории появления слов и выражений в русском языке, причем вопросы были посвящены как актуальным лингвистическим проблемам, так и практическим трудностям словоупотребления, произнесения, написания. Авторами передачи “В мире слов” были В.Я. Дерягин (ученик академика В.В. Виноградова) и Л.И. Скворцов (ученик С.И. Ожегова), а также

журналист З.Н. Люстрова. Текст передачи “В мире слов” в разные годы читали ведущие дикторы и актеры: Владимир Балашов, Вера Енютина, Ирина Ложкина, Борис Федосеев, Татьяна Лузкова, Евгений Терновский.

Передаче “В мире слов” предшествовал годовой цикл бесед под названием “Беседы о русском языке”, а открывал эту передачу сам Виктор Владимирович Виноградов, директор Института русского языка Академии наук СССР. Все эти беседы вызывали активный отклик слушателей, и после каждой передачи на Всесоюзное радио приходили многочисленные письма слушателей с новыми вопросами о русском языке. За первые три года на радио поступило более 30 тысяч писем, при этом на часть вопросов слушатели получали ответы в письменном виде. Материалы передачи “В мире слов” в течение многих лет публиковались в журналах “Наука и жизнь”, “Телевидение и радиовещание”. В издательстве “Знание” вышло несколько книг по материалам передачи “В мире слов”: “Мир родной речи”, “Беседы о русском языке”, “Друзьям русского языка” и другие.

Таким образом, передача “В мире слов” фактически также выполняла роль справочной службы русского языка. Кроме того, ответы на вопросы по русскому языку публиковали многие газеты и журналы.

Итак, справочно-информационные проекты по русскому языку были созданы в нашей стране в рамках практически всех средств массовой информации, как печатных, так и электронных. Однако конец XX века ознаменовался появлением нового глобального средства массовой коммуникации – Интернета. Всемирная сеть стала фактически новой социокультурной реальностью, где нет центра и периферии, где доступ к информации принципиально иной и принципиально иное ее порождение: совершенно новая возможность высказаться по любому поводу публично, точнее сказать, интернетно. Влияние Интернета на все сферы общественно-политической и культурной жизни стало со временем настолько велико, что сейчас, вспоминая В.И. Вернадского, можно назвать Интернет основой ноосферы, которую своей мыслительной деятельностью формирует человечество и в которой оно же и функционирует.

Интернет стал предметом лингвистических исследований. Языковеды заинтересовали условия самореализации языковой личности во Всемирной паутине, проблемы влияния Рунета на формирование в России лингвокультурологической языковой картины. Кроме того, само существование русского языка в Интернете стало вызывать вопросы: не приведет ли развитие Сети к гибели русского языка?

Учитывая все эти факторы, в Министерстве по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций возникла идея создания интернет-портала, который мог бы стать оперативной справочно-информационной базой по русскому языку для всех средств массовой

информации и вместе с тем привлечь внимание пользователей Сети к русскому языку – государственному языку Российской Федерации. Такой портал был создан в июне 2000 года по рекомендации Комиссии “Русский язык в СМИ” и получил официальное название: Справочно-информационный интернет-портал “Русский язык” (ГРАМОТА.РУ).

За пять с половиной лет работы портал ГРАМОТА.РУ стал ведущим отечественным ресурсом, посвященным русскому языку и русской словесности. Основные материалы ГРАМОТЫ. РУ – тематические форумы, посвященные русскому языку, научный журнал, учебные пособия и интерактивные диктанты, обучающие компьютерные игры, новостная лента. Кроме этого, портал предлагает своим посетителям уникальные бесплатные услуги – электронные словари русского языка (в том числе “Русский орфографический словарь” Российской академии наук) и интерактивную справочную службу по русскому языку. За пять лет работы сотрудники справочной службы ответили почти на 200 000 вопросов, посвященных правильному написанию и произношению слов, пунктуационным и стилистическим трудностям, происхождению имен и географических названий. Посетители портала обсуждали закон о русском языке, проект нового свода правил русского правописания. Можно утверждать, что на ГРАМОТЕ.РУ сформировалось интернет-сообщество, активно интересующееся русским языком, и именно это интернет-сообщество позволяет говорить о том, что ГРАМОТА.РУ – инструмент определения горячих точек русского языка.

Необходимо отметить, что в Сети существуют и другие ресурсы, посвященные русскому языку. Среди них – “Культура письменной речи” (www.gramma.ru) и “Русские словари” (www.slovari.ru). На этих ресурсах также существуют справочные службы по русскому языку, однако они пользуются гораздо меньшей популярностью, чем справочная служба ГРАМОТЫ.РУ.

Таким образом, за последние 50 лет справочно-информационные проекты, посвященные русскому языку, прошли долгий путь от первых телефонных звонков в Институт русского языка до поступающих круглые сутки со всех концов земного шара запросов пользователей Интернета. Причем именно сейчас работа лингвистов – сотрудников справочных служб по русскому языку – приобретает особую значимость. В условиях, когда рекомендации справочников и словарей не только разнятся, но во многих случаях столь расплывчаты, что применить их на практике рядовому носителю очень трудно, справочные службы по русскому языку практически помогают носителям языка грамотно говорить и писать.

РАДИ КРАСНОГО СЛОВЦА

По поводу интернет-сайта udaff.com

© В. Э. МОРОЗОВ,
доктор филологических наук,
кандидат педагогических наук

“Но ниутамимый Метволь не успокоился и стал пристольно всматривацо в неспакойные воды Омура, пака ево падчиненные с помащью динамита и багрофф изучали папуляцию дальневасточных карпавых и карпаабразных. И вот к какому вываду прешол. Пачти цытато” (Из “перлов” новостей сайта udaff.com).

При входе на сайт udaff.com сразу вспоминается термин “карнавализация языка” академика В. Г. Костомарова и профессора Н. Д. Бурвиковой, которые в своей книге “Старые мехи и новое вино. Из наблюдений над русским словоупотреблением конца XX в.” (СПб., 2001) пишут: “Переломный, кризисный момент в жизни российского общества тут же был отражен языком. Карнавализация окружающей действительности стимулировала карнавализацию языка” (стр. 7). Они отмечают, что языковые игры, которые раньше осуществлялись в пространстве художественного текста, вдруг стали реализовываться повсеместно, и в особенности – в языке средств массовой информации, где царит общий дух травестирования, “ради красного словца” не жалеется ничего.

Конечно, такого рода игры с языком имели место всегда. В них участвовали не только поэты-футуристы, для которых такие игры служили путем творческого поиска и в конце концов стали творческим методом. Эксперименты с языком проводили и писатели-прозаики, например, Л. Кассиль в своей книге “Кондуит и Швамбрания”. И не только писатели. Вспомним хотя бы речь Балбеса (Ю. Никулин) на тарабарском языке в кинофильме “Кавказская пленница”. Некоторые звуко сочетания из нее (киргуду!) вошли в речь молодежи того времени. А немыслимые сокращения словосочетаний во времена ранней советской эпохи?! Один известный “Детгиз” стоит нескольких “прибамбасов”. Периодически русский язык захлестывали волны заимствований, и не только речь дворян, но и речь на других социальных диалектах. Например, блатной жаргон начала прошлого века включает множество слов из древнего и нового еврейских языков (“фраер”, дословно – “же-

них”, “хевря” – “товарищество”, “кагал” – “общество” и др.). Но все же эти игры по преимуществу ограничивались созданием новых слов.

У авторов udaff.com и им подобных игроков наблюдается нечто иное – стремление пародировать неграмотное написание слов. Именно пародировать, так как мне почему-то кажется, что большинство пишущих – достаточно грамотные люди. Они прекрасно понимают, что делают. “Истинно неграмотный” пишет по-другому. Для чего же нужна эта игра? С одной стороны, это вполне понятная реакция на перегруженность русской орфографии многообразными и не вполне логичными правилами. Ну почему, например, “в одиночку” пишется раздельно, а “поодиночке” слитно? Возможно, это также и реакция на школьную практику обучения русскому языку, которая не добавляет любви к орфографии и пунктуации.

С другой стороны, это, конечно, желание пооригинальничать, проявить себя если не в содержании мысли, так хотя бы в форме ее выражения. Но, думается, главное в этой игре – это то, что все ее участники чувствуют себя единомышленниками, людьми этого круга, “своими”. Чувство принадлежности к определенной группе необходимо человеку для самоидентификации: я такой, как те, а не такой, как эти. Однако особенно остро оно проявляется в подростковом возрасте, когда молодежь делится на разные течения, группировки.

Одним из средств выражения принадлежности к группе являются особые слова, выражения, цитаты из текстов, известные всем членам группы. В.Г. Костомаров и Н.Д. Бурвикова, впервые научно описавшие такие языковые метки, назвали их *логоэпистемами* (с термином, конечно, можно было бы поиграть на udaff.com). Так вот, эти извращения русского языка на сайте udaff.com не что иное как забавная логоэпистема, порожденная желанием участвовать в общей игре еще не вполне повзрослевших вчерашних, а может быть, и сегодняшних подростков. Повзрослеют – поумнеют. И это все – суета.

Большее беспокойство вызывает оскудение словарного запаса молодежи, наплыв заимствований и какое-то однообразие интонации, последнее – особенно в речи девушек. Ведь еще Гоголь писал, что русский человек может при помощи интонации выразить то, что невозможно выразить словами ни на каком языке. Кстати, однообразные интонации – пока что тоже логоэпистема, но могут войти в трудноискоренимую привычку.

Особенности речевого общения в блогах

© И. Б. АЛЕКСАНДРОВА,
кандидат филологических наук

Общение “падонкоф” (и тем более “падонкоф” и обычных пользователей Интернета) выстраивается зачастую как конфликтное и протекает преимущественно в рамках инвективной стратегии. В общении представителей субкультуры “падонков” проявляются конфликтно-агрессивный или конфликтно-манипуляторский подтипы речевого поведения. Наиболее ярко это отражается в речевых формулах, принятых в “падонковской” речевой среде. Вот, например, несколько устойчивых инвективных выражений “падонкоф”, наиболее часто используемых в комментариях: “афтар выпей йаду!”, “афтар, убей себя апстену”, “в Бобруйск, животное!”, “в газенваген!”, “учи албанский” и пр. Все они являют собой примеры речевого высказывания с резко негативной побудительной интенцией. Их используют, чтобы унижить собеседника. Конфликтно-манипуляторский подтип речевого поведения выражается здесь в том, что говорящий ставит себя выше того, к кому обращены его слова, не испытывает уважения к адресату высказывания, провоцирует собеседника на конфликт.

Конфликтно-агрессивный тип поведения выражается и в таких распространенных инвективных формулах, как “ахтунг!”, “ацтой”, “КГ/АМ”, “ужос”, “ужоснах”. “Падонки” используют их как речевое средство психологического подавления собеседника.

Свойственные “падонкам” стратегии речевого поведения всегда вызывают коммуникативный конфликт, если в диалог с ними вступают люди, не принадлежащие к этому течению. Все, что связано с “падонками”, вызывает неприятие у интеллигентных людей. Представители “падонковского” движения это понимают, но намеренно “огрубляют” свою речь, стремясь к эпатажу интернет-аудитории. Это нигилисты постмодернистской эпохи, для которых стёб, ёрничество – естественные нормы поведения, в том числе и речевого. Каковы последствия влияния языка “падонкоф” на русскую речь? Как пишет Андрей Каменецкий, студент факультета журналистики, один из наиболее активных пользователей Интернета, «разрушительное действие речи “падонкоф” на язык Интернета оказалось чрезвычайно велико. Даже грамотные, интеллигентные люди с восторгом восприняли орфографические искажения и речевые формулы “падонкоф”. Это напоминает тщательно спланированную акцию, направленную на уничтожение русского языка и культуры, поскольку для представителей этого движения, кроме “телесного низа” и самых грязных сторон жизни, нет ничего святого. Последствия такой акции – эпидемия языковых извращений, вышедшая за пределы Интернета».



Наше – импортное в советский и постсоветский период

© И. В. ГЛАЗКОВА

Это противопоставление, актуальное как в советский, так и в современный период жизни нашего общества, сейчас имеет другое содержание, отличное от советского.

В советский период в официальной печати в противопоставлении *импортное – наше (свое)* “отечественное”, местоимение *наше* приобретало положительные коннотации “качественное”, “дешевое”, так как приоритет в то время отдавался отечественным товарам, они оценивались, согласно идеологии, как качественные и дешевые, и, соответственно, предполагалось, что Советский Союз производит товары только отличного качества: “Одним из первых на руднике право управлять экскаватором получил Сергей Андреевич Сосед. Сначала работал на *иностранных* машинах, а потом пошли *свои, более дешевые и надежные*” (Молодая гвардия. 1970. № 1); «Патефоны же “His master’s voice” никто не пожелает, поскольку *наши* будут лучше, изящнее, дешевле» (Молодая гвардия. 1965. № 1); “Недавно мне пришлось сопровождать по стране делегацию бизнесменов. Гости видели заводы и сравнивали со своими – часто соглашались, что *наши* лучше” (Там же).

На уровне бытового сознания в советское время, тем не менее, обладание более качественной, по сравнению с отечественными товарами, импортной вещью считалось престижным, поэтому употребление *импортное* могло приобретать коннотации “дорогое”, “качественное” и “престижное”: «Из зарплаты кое-что откладывают, чтобы купить “дорогую и обязательно импортную вещь, иначе на тебя не посмотрят”» (Комс. правда. 1978. № 7).

При этом люди, стремившиеся приобретать импортные вещи, часто оценивались отрицательно. Соответственно, слова *иностранное, заграничное* получали отрицательные коннотации: “...С каждой вещи и со всех вместе лезли в глаза ярлыки иностранных фирм. Сколько усилий, выдумки и времени было затрачено на то, чтобы вытравить из дома все *наше* и собрать модное, *заграничное*, по мнению хозяина, красивое!.. Я взял со стола коробок, хотел прикурить. На нем тоже была чужая этикетка. Одна спичка погасла, другая сломалась. Я взялся за третью и почувствовал на себе напряженный взгляд хозяина. Сомнений быть не могло: он жалел *заграничные* спички” (Молодая гвардия. 1965. № 1).

Слово *заграничное* могло приобретать пейоративные коннотации “модное”, “престижное”, а также употребляться с прилагательными *модное, престижное* в одном контексте как с синонимами. Таким образом, на страницах прессы могло возникать противопоставление *наше – модное, престижное*; при этом слова *модное* (см. оппозицию *модное – немодное*), *престижное* содержали коннотативные компоненты значения *чужое, вредное*, слова *мода* и *престиж* также содержали коннотации отрицательной оценки: “Поскольку *мода* предполагает интерес только к внешности явления, за ней почти всегда угадывается фигура обывателя, жаждущего блеснуть вершками культуры” (Молодая гвардия. 1965. № 3); “Я убедилась, наблюдая за знакомыми, что эта погоня за *сверхмодной западной* музыкой чаще вызвана не любовью к ней, а жаждой *престижа*” (Комс. правда. 1979. № 213); “Красиво или *престижно*” (Заголовок. Там же).

После перестройки и вплоть до середины 90-х годов XX века компонент *импортное* неизменно содержал (уже не только на уровне бытового сознания, но и в публицистике того периода) элемент значения “качественное”, а компонент *отечественное* в данной оппозиции противопоставлялся *импортному* как “некачественное”. Кроме того, *импортное* могло противопоставляться *отечественному* на основе дополнительных (необязательных) признаков “дорогое” – “дешевое”: “Это потом мы узнали, что *импортное, иностранное* – не всегда лучшее. А в начале 90-х все *чужое* противопоставлялось в сознании обывателя *отечественному* как качественное некачественному” (Журналист. 2002. № 5); “Сейчас у нас любой товар рано или поздно разойдется. Особенно, если он с *импортной* этикеткой” (Крестьянка. 1990. № 1); “Во-первых, *импорт* всегда лучше и качественнее, а во-вторых, *отечественные* вещи бывают

и у нас. *Импорт*, правда, тоже бывает, но без знакомств в магазине не купишь” (Там же); “Новые же замечательные *импортные* станочки рассчитаны на столь же замечательные *импортные* ткани, в которых нет наших обычных дефектов – непрокрасов, заломов, репья” (Работница. 1989. № 9).

Слово *импортное* в то время имело также коннотацию “дефицитное”: “Ну а что мы делаем с остродефицитными товарами *импортного* производства, вы и сами знаете” (Крестьянка. 1990. № 1).

С середины 90-х годов, с появлением большого количества импортных товаров на российском рынке, в том числе некачественных, произошло переосмысление данной оппозиции. Признак “качественное” даже на уровне среднего бытового сознания перестал быть маркированным в семантической структуре слова *импортное*. Особенно это проявляется в контекстах, когда слово *импортное* сочетается с наименованием продуктов питания (“Мы когда-нибудь могли предположить, ... что *отечественная* колбаса будет дороже *импортной*, а люди все равно станут покупать именно ее?” – Лит. газета. 2001. № 33), или промышленных товаров. Сравните противопоставление *фирменная обувь* – *обувь неизвестных производителей*: «Когда вы выбрали подходящую модель, поинтересуйтесь, кто производитель. “Импортную” обувь на рынке лучше не покупать, посетите для этого фирменные магазины... И еще: на *импортной* обуви *известных производителей* вы нигде не найдете следов клея, все должно быть чисто и аккуратно» (Комс. правда-Калуга. 2002. № 177).

Прежняя оценочность оппозиции *наше* – *импортное* может проявляться в некоторых названиях товаров: «косметика французская по-прежнему противопоставляется нашей как продукция высшего качества, и потому *французский* – значит “хороший”», в отличие от употребления *индийский* (одежда, чай), которое по экстралингвистическим причинам уже не содержит безусловно положительной оценки [1].

Заметим также, что прежняя оценочность этой оппозиции остается актуальной также в употреблении со словами, обозначающими предметы бытовой техники и автомобили: элементы значения “качественное” и “дорогое” у слова *импортное* часто сохраняются (особенно, если речь идет об автомобилях). Сравните противопоставления *импортный/отечественный* телевизор, автомобиль: “Рискует ли покупатель, приобретая *отечественный* телевизор вместо *импортного*? – Технология производства, многие комплектующие детали, кинескопы одинаковы что у *импортных* агрегатов, что у *отечественных*... Наши телевизоры на 10–12 процентов дешевле *импортных* при одинаковом качестве” (АиФ. 2003. № 18); «Пока по нашим дорогам *отечественных* “колес” бегают на 20% больше, чем *импортных*, однако предпочтения потребителя постепенно смещаются в сторону “иностранцев”» (Там же); “*Отечественные* пятипрограммные телевизоры москвичи быстро

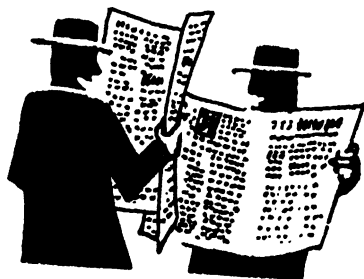
заменяли на *импортные*, способные принимать несколько десятков программ” (Новая газета. 2003, № 42).

Стоит отметить, что весьма актуальным сейчас стало противопоставление *наше* – *китайское*. Здесь слово *наше* содержит коннотации положительной оценки и противопоставляется *импортному*, в данном случае *китайскому*, как “качественное” “некачественному”: “Не пускают нас на отечественный рынок, – разводит руками директор фабрики... – Всюду лобби: если *наше* возьмут – то кто же *китайское* брать будет? Магазины по самое не хочу *импортом* забиты, а *нашему* товару – только до прилавка – вмиг расхватывают” (Новая газета. 2003. № 42).

Так что семантические отношения в оппозиции *наше* – *импортное* зависят от социально-экономических изменений в нашем обществе.

Литература

1. Ермакова О.П. Семантические оппозиции как отражение жизни российского общества в последние десятилетия XX века // Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Русский язык. 1997. С. 133.

Язык прессы**ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В ГАЗЕТНОМ ТЕКСТЕ**

© *Е. В. ПОКРОВСКАЯ,*
доктор филологических наук

Языковая игра на газетной полосе, как правило, строится на комическом эффекте, в основе которого – отклонение от привычного, совмещение несовместимого, нарушение стереотипного восприятия действительности. При столкновении с языковой игрой у читателя появляется интерес к публикации. Именно он побуждает адресата к активной мыслительной работе, направленной на разрешение языковой “загадки”.

Основными элементами в модели комического текста являются стереотипные ситуации и игровой вариант, создающие базовое противоречие, которое выступает как условие реализации комического противоречия. Стереотипная ситуация – та часть структуры комического текста, которая соответствует ожиданиям читателя; игровой вариант – компонент структуры комического текста, вызывающий сбой в его ожиданиях, нарушающий прогноз в процессе восприятия текста. Наличие двух противоположно направленных аспектов задает в комическом сочинении два семантических поля, различаемых контрастностью характеристик. Противоречие, лежащее в основе всякого комизма, есть совмещение двух противостоящих логико-семантических полей, которые определяются через оппозиции: духовное – материальное, реальное – нереальное, конкретное – абстрактное.

Комическое в газетном тексте имеет совершенно явную прагматическую направленность – воздействующий аспект. Наблюдения над языком современной газеты говорят в пользу того, что комическое все больше и больше проникает в публицистику. Даже самая, казалось бы, безобидная, а иногда и серьезная информация подается в форме шутки,

иронии. Подчеркивается оценочный характер информации: “Дождались. Госдума открыла осеннюю сессию” (Новая газета. 2003. 20–23 сент.).

Привлекая внимание читательской аудитории к газетному материалу и давая ему оценку, журналисты все чаще и чаще обращаются к рифме: “Вышел Клинтон на крыльцо – прилетело в лоб яйцо” (Комс. правда. 2001. 18 мая).

Вместе с тем сохраняется лозунговость, директивность текста, хотя, в отличие от доперестроечных призывов, обращенность газеты в наше время часто носит комический характер: “Береги ученых смолоду!” (Российская газета. 2000. 29 нояб.).

Определенность, недвусмысленность в подаче информации уступают место риторическому вопросу, диалогу с читателем, рассуждениям автора: “Есть вопрос. Мытищинский прецедент получит продолжение?” (Российская газета. 2000. 21 сент.).

Способы реализации комического многочисленны. Среди них противопоставление (высокое – низкое): “Америку поцеловал ангел смерти” (Завтра. 2001. Сентябрь). Здесь искажение фрейма: *поцеловать + страну, ангел + смерть*; “Плюрализм в одной голове” (Независимая газета. 2000. 22 дек.). Искажение исходного фрейма – *плюрализм*; введение фрейма – *одна голова*; противопоставление: реальное–нереальное.

Примеры эксплуатации коммуникативных максим: “Дом с видом на социализм” (Известия. 2000. 24 окт.). Здесь нарушение максимы качества: конкретное + абстрактное (*вид + на социализм*)

В этом ряду противопоставлений и несоответствий выделяются логически абсурдные речевые образования: “Кто пьет, кто горбат, а я успешный” (Моск. комс. 2002. 9 июля); “Штаны на троих” (Советская Россия. 2002. 20 июня); “Непредсказуемое прошлое” (Независимая газета. 2002. 14 марта).

К способам вербальной реализации комического относят прежде всего фонетические и морфологические трансформации, которые ведут к изменению слова и его семантики: “Серб и молот” (Известия. 2000. 6 окт.); “Мастер своего тела” (Труд. 2002. 16 сент.); “У рубля странн” (Моск. комс. 2002. 18 июня); “Дипломатическая прикосновенность” (Труд. 2001. 21 мая).

Следующей группой способов языковой реализации комического содержания в газете являются клише и цитаты, которые появляются в тексте как в неизменном, так и в трансформированном виде. Существует довольно много способов их изменения:

Фонетико-морфологические замены: “Над пропастью во лжи” (Независимая газета. 2000. 29 апр.); “Факультет нужных вещей” (Комс. правда. 2001. 22 марта).

Лексико-семантические замены: “Родному куску рот радуется” (Российская газета. 2000. 16 окт.); “Наш паровоз – вперед плати” (Российская газета. 2000. 26 дек.).

Тематическая и синонимическая замена: “По ком трубят рожок” (Правда. 1996. 20 сент.).

Замена-распространение: “Павел Бородин как зеркало российской политической элиты” (Комс. правда. 2001. 12 янв.).

В контексте клише и цитат можно также привести примеры использования новояза: “Детская болезнь кривизны в коммунизме” (Моск. комс. 1996. 7 авг.); “Призрак депутата бродит по Америке” (Труд. 1997. 10 июля).

Сочетание и чередование разнотематических и разностилевых элементов на уровне текста, предложения и даже словосочетания являются основным приемом образования комического.

В последнее время заметно чаще наблюдается комическое использование иностранных слов: “Пиаром по рейтингу” (Независимая газета. 2000. 14 дек.); “Я бы в киллеры пошел” (Российская газета. 2000. 24 нояб.); “Киднепинг понарошку” (Моск. комс. 2002. 9 дек.); “Получите по харизме” (Моск. комс. 2003. 4 марта).

Особенно комичным становится текст, в котором иностранные слова употребляются вместе с разговорной лексикой: “Гости были особые – *кто есть кто* американского литературного *истеблишмента*. Это было видно даже невооруженным глазом. Были среди них даже длинноволосые *хиппари*. Короче, это была не гламурная *тусовка* и даже не тусовка московской так называемой интеллектуальной элиты-*показушницы*”.

Очень распространенным приемом создания комического является игра на внутренней форме слова, использование его прямого и переносного значения: “Где чокнуться выпускнику? Советуем, как всем курсом весело отпраздновать получение диплома” (Комс. правда. 2002. 25 июня).

Комический эффект создается в стилистическом контрасте, где вместе с нейтральной лексикой можно встретить просторечную, а также устаревшую или религиозную лексику: «“Служивый боярин” или неудавшийся политик. Приволжский полпред уже хочет, но пока не может получить более влиятельные властные полномочия» (Независимая газета. 2002. 12 марта); «Предприятиям и регионам невыгодно работать на “барина”, то бишь на федеральный центр» (Независимая газета. 1996. 25 дек.).

В терминах фреймового подхода реализуется противопоставление: высокое – низкое, официальное – неофициальное, что и вызывает комический эффект. Еще несколько лет назад такой игровой способ подачи и оценки информации был бы невозможен, но сегодня изменился языковой климат. Вместе с разговорной, просторечной лексикой, функцией которой является более точное и полное донесение информации до читателя и воздействие на него, часто используется сниженная лексика, которая ограничивается возрастным и социальным статусом говорящего и является непременным атрибутом современной разговор-

ной речи: «В Москве начали строить “Лужковки”. Самый большой спрос на “однушки”» (Комс. правда. 2000. 18 сент.); “Манежку громили люди в черном” (Моск. комс. 2002. 19 июня); “Полеты нахалю” (Известия. 2000. 30 окт.); “У мафии поехала кремлевская крыша” (Комс. правда, 1996. 10 июля); “Коррупция – живучая зараза” (Труд. 1997. 10 июля).

В этом же контексте можно указать и некоторые другие наиболее частотные лексико-синтаксические способы создания комического эффекта.

Парцелляция: “Все ушли на фронт. Погодный” (Моск. комс. 2002. 15 июля); “Сочинский рембо порол горячку. Белую?” (Комс. правда. 2000. 23 сент.); “Россия вошла в Грузию. С мячом” (Моск. комс. 2002. 12 окт.).

Эллипсис: “Товары – на Север, пенсионеров – на Юг!” (Правда. 1997. 20 июля); “Коня – в Сенат, собаку – в депутаты” (Там же); “Войска – убрать, милицию – вооружить” (Известия. 2000. 16 сент.); “Следим за ситуацией. Утром – реформы, вечером – свет” (Российская газета. 2000. 16 дек.).

Использование параллельных конструкций, чередование подлежащего и дополнения: “Мы ищем работу, а она ищет нас” (Российская газета. 2001. 18 янв.).

Игра со знаками препинания: “Хвалить нельзя ругать” (Комс. правда. 2001. 24 марта); “Сажать нельзя выпускать” (Комс. правда. 2001. 3 февр.); “Лечить нельзя помиловать” (Моск. комс. 2002. 14 окт.); “Язык доведет министра до отставки?” (Комс. правда. 1997. 25 февр.); “Как шутить, чтобы не было мучительно больно!” (Комс. правда. 2001. 31 марта); “Что имеем – сохраним?” (Российская газета. 2001. 24 нояб.).

Здесь необходимо упомянуть еще один способ реализации комического – образ автора, его обращенность к читателю. Это приближает последнего к действию, описываемому в тексте, а также вовлекает его в коммуникативный акт: «Знаете ли вы сограждане, что сегодня в Брюсселе открывается всемирный изобретательский салон (возможно, он же и магазин) “Эврик”. А тем более – что одним из главных участников тусовки архимедов нашего времени будет мэр Юрий Лужков?» (Независимая газета. 2000. 18 нояб.).

Комический эффект приобретают также тексты, в которых используется лексика разных временных пластов, стилей и сфер деятельности: “99% россиян безразлично, сколько евро стоит доллар. И вот уже бабушки на скамейках, главные наши финансово-бытовые аналитики, заговорили о европейской валюте уважительно. И в том смысле, что не пора ли де России пересмотреть свою валютную политику? Вслед за бабушками засуетились заскучавшие от летнего безделья экономические обозреватели...” (Моск. комс. 2002. 5 июля); “Приключения камикадзе в стране пенсионеров”; “...Инициатива, конечно, смелая, хотя и непо-

пулярная. Да и с чего ей популярной быть, если среднестатистический мужик доживает у нас до 59 лет, и значит, вместо пенсии ему хрен собачий. А то что среднестатистическая баба, дотягивающая до 68, целых пять лет бабки ни за что получать будет, народ мало радуется”; “Короче, не утерпел глава пенсионного фонда и прокололся раньше времени. То ли забыл, то ли не подумал, из кого наш политически активный электорат преимущественно состоит. А может, специально, чтобы электорат этот разозлился и проголосовал – страшно подумать! – не за Того, за Кого Надо...” (Независимая газета. 2004. 3 февр.).

Обилие разнообразных приемов, смешение стилистических пластов – все это можно найти в современном газетном тексте. В использовании нового и старого, привычного и необычного, традиционного и индивидуального усматривается связь времен. Газета сегодня предоставляет уникальную возможность увидеть нашу жизнь в ее бесконечном разнообразии и непредсказуемой противоречивости.

Разнообразие применяемых приемов, стилистическое и жанровое смешение говорят о сегодняшней тенденции развития русского языка, сегодняшнем языковом вкусе. Вместе с тем именно с помощью этих приемов реализуются установки, делающие современный газетный текст прагматически интенсивным: привлечение внимания, эмоциональное воздействие, оценка, поддержание контакта с читателем, создание впечатления объективности, побуждение к действию и т.д.

По своей воздействующей силе современный газетный текст становится более активным, наступательным, а порой и агрессивным. Он входит в нашу жизнь, затрагивая наши чувства, наши интересы. Мы являемся его соавторами, его ценителями. Мы обсуждаем, оцениваем, критикуем, мы живем в этом тексте. Мы хотим, чтобы он был сенсационным, оригинальным, объективным, насущным.



**Повесть
о походе Святослава Всеволодовича
на волжских булгар**

© Н. В. ТРОФИМОВА,
доктор филологических наук

Рассказ о походе войск северо-восточной Руси против волжских булгар в 1220 году сохранился в ряде летописных сводов XIV–XVI веков и имеет три основных вида.

Первый вид зафиксирован Лаврентьевской летописью. В ней кратко сообщалось об отправке Юрием Всеволодовичем войска во главе с его братом Святославом на булгар, намечались основные этапы в ходе битвы у города Ошела и сообщалось о победе Святослава. Повесть лишена деталей: в ней не рассказывается, как это было принято, о составе войска; из всех участников назван лишь глава похода; не раскрыты результаты битвы; не описано возвращение победивших в свою землю.

Второй вид повести находится в Ермолинской летописи, текст которой А.А. Шахматов возводил к Ростовскому владычному своду [1. С. 648]. Эта повесть более подробно передает ход событий, указывая на обстоятельства, в которых происходила битва (описаны укрепления Ошела, упомянута буря, начавшаяся во время боя). Последовательно рассказано о действиях русского войска и его противников. Значительное место занимает повествование о событиях, следовавших за сражением: шествии победоносного войска по землям противника, встрече с ростовским и устюжским полками, завоевавшими земли по Каме; возвращении во Владимир. Обращая внимание на детали событий, летописец в то же время не уделит внимания их участникам.

Этот вариант повести позже был использован составителями кратких летописных сводов 1497 и 1518 годов, а также во всех списках Никоновской летописи (кроме Лаптевского) и в Тверском сборнике.

Третий вид повести, самый интересный в литературном отношении, зафиксирован в Московском летописном своде конца XV века, Воскресенской летописи, Никоновской по Лаптевскому списку. А.А. Шахматов возводил эту часть Московского свода к древней Владимирской летописи.

си через Ростовский свод времени епископа Ефрема [1. С. 776; 2. С. 253].

Повесть по сравнению со вторым видом дополнена множеством деталей. Подробно рассказано о силах князей, принявших участие в походе. В отличие от варианта Ермолинской летописи, повествователь описал расстановку войск Святославом на подходе к Ошелу: “Изряди же Святослав полки своя, Ростовъскыи постави по правой руце, а Переяславъской по левой, а сам ста с Муромъскими князми посреди, а ин полк остави у лоеи, сами же поидоша от берега к лесу” [3. С. 160]. Детализируется эпизод приступа к Ошелу: летописец обращает внимание на то, что первый приступ к осажденному и подожженному городу оказался неудачным из-за ветра, несшего дым на войско Святослава, поэтому второй приступ пришлось начать с другой стороны.

В повести увеличивается и изобразительное начало. Описание горящего города, которое в Ермолинской летописи сводилось к единственному краткому упоминанию “отвсюду огонь обстоаху около града” [4.С.97], превращается в зрительно воспринимаемый фрагмент: “И обьят град огонь отвсюду, и бысть буря велиа, и страшно бысть видети, и бысть в граде вопль велик зело” [3. С. 161]. Дважды повторенный эпитет *великий* и анафорический союз *и* придают эмоциональность описанию.

Картина гибели жителей побежденного города построена на основе распространенной формулы судьбы побежденных: “а что пещец выбегло, мужи избиша, а жены и дети в полон взяша, а *инии* в граде погореша, а *инии* сами изсекоша жены свое и дети, и по том сами ся избиша” [3. С. 161]. Благодаря деталям формула теряет свой обобщенный характер, тем более, что за ней следует замечание: “Неции же от вои Святославлих дързнуша внити в град корысти деля и едва утекоша пламене, а *инии* ту изгореша” [Там же]. Таким образом судьба побежденных и тех из победителей, которые польстились на богатство, оказывается одинаковой.

Рассказ об обратном пути войска содержит описание бури, застигшей Святослава у ладей, о которой другие варианты повести даже не упоминают: “и вѣста буря с дождем, яко же и лодиам вѣзмятися, и по том же нача буря тишиться...” [3. С. 161]. Обычно в летописных повестях картина бури во время похода связана с судьбой того или другого войска, с ходом действия. В данном случае сюжетного значения описание не имеет, оно лишь передает обстановку одного из эпизодов похода.

В ряде фрагментов изображаются чувства собирательных персонажей – русского воинства и врагов. Так, описывая неудачный первый приступ к городу, летописец рисует картину охваченного дымом войска и одновременно передает состояние воинов: “По том же приступиша к граду отвсюду и зажгоша его; и бысть дым силен зело, и потяну ветр с града на полки Святославле, *и не бе видети человека в дыме*, и не могуще терпети дыма и зноя, паче же безводиа, и отступиша от града, и седоша опочивати от многоа труда” [3. С. 161]. Выделенная формула,

обычно отражающая напряженную и длительную битву, использована в необычном контексте – изображении пожара. Построение фразы с анафорическим соединительным союзом и постановкой на первое место глаголов и глагольных форм создает ритмичность, акцентирующую впечатление напряженности действия и тяжести состояния воинов.

Незначителен в сюжетном отношении, но живописен и эмоционален эпизод встречи победителей с булгарами, узнавшими о взятии Ошела и вышедшими из других городов на берег, чтобы видеть войско Святослава. Они “печални быша повелику зело...” [3. С. 161]. Ярко нарисован облик русских воинов, которым Святослав, узнав, что жители болгарских городов ждут их, “повеле же... оболочитися в бране, и стягы наволочити, и наряди полкы в насадах и в лодях, и поиде полк по полце, бьюще в бубны и в трубы и в сопели, а сам князь по них поиде. Болгари же идуще по берегу, видяще своих ведомых, овому отци, иному сыны и дщери, другому же братья и сестры и съплеменници, и стаху покивающе главами своими (1) и стоняюще сердци их (2) и смежаяще очи свои (3)” [Там же]. Эта картина ярче аналогичной из Ермолинской летописи: “Святослав... повеле своим вооружатися и стяги наволочити, изряди полки в насадах, и удариша в бубны и в трубы и в сопели, а Болгаре, стоаще по берегу, зряще своих плененных, плакашеся” [4. С. 97] – благодаря незначительным, на первый взгляд, дополнениям и изменениям.

В описание шествующего победоносного войска летописец, чей текст вошел в Московский свод, добавил всего несколько слов, которые ярко представили картину стройно движущегося русского войска. Есть в этом описании и некоторые тонкие стилистические различия. *Оболочитися в бране* не только лексически, но и звукописью передает действие более ярко, нежели *вооружатися*, так же как добавленный оборот *поиде полк по полце* сочетанием начальных глухих звуков передает впечатление мерного движения войска.

Вторая половина приведенного фрагмента обнаруживает особое, хотя, скорее всего, бессознательное внимание московского летописца к звучанию слов. Оборот *видяще своих ведомых*, в отличие от синонимичного *зряще своих плененных* в Ермолинской летописи, также создает звукопись, эмоционально оттеняющую следующую затем перечень родных, которые попали в плен. Душевные переживания болгар, переданные в Ермолинской летописи одним словом *плакашеся*, в Московском своде раскрываются более подробно в синтаксически параллельных частях фразы с анафорическим союзом. При этом первый и третий член описания передают внешние проявления печали, а второй выражает чувства персонажей с помощью метафорического образа, экспрессивность которого подчеркнута нагнетанием свистящих звуков.

Таким образом, упомянутые описательные элементы имеют изобразительно-выразительный характер, достигающийся разнообразными языковыми средствами.

Главный герой повести князь Святослав Всеволодович представлен в Московском своде значительно ярче, чем в других вариантах текста. Он изображен как главное лицо похода, ему принадлежат все важнейшие решения: он расставляет войска, первым со своей дружиной идет к Ошелу и вступает в битву: “И наряди люди вперед с огнем и с секирами, и за ними стрелцы и копейники, и приступи к граду” [3. С. 160]. В момент, когда первый приступ к городу оказывается неудачным из-за дыма, Святослав произносит две речи, отсутствующие в других вариантах. Первая содержит приказ начать новый приступ с другой стороны Ошела. Вторая же, уже у городских ворот, напоминает речь князя Святослава Игоревича, обращенную к своим воинам в “Повести временных лет”: “Братие и дружино! Сегодня нам двое предлежить, или добро, или зло, да потягнем борже” [3. С. 161]. Вслед за этой речью автор повести сохраняет сообщение, которое было и в Ермолинской летописи, о том, что князь первым пошел к городу, однако вновь в “Московском своде” эпизод приобретает более динамичный характер: “И потече сам князь преди всех к граду; видевше же его вои вси устремися к граду борже, и посекоша тын и оплоты и с ту страну, и зажгоша” [3. С. 161]. В Ермолинской летописи читаем: “И тако напред всех потече сам князь Святослав ко градным вратом, и по нем вси вои, и тамо тын и оплот...” [4. С. 97]. Из сопоставления отрывков становится ясно, что первый летописец стремился подчеркнуть значение и речи Святослава, и его личной храбрости: не случайно в обращении князя к войску и в описании приступа использовано одно и то же слово *борже* (быстрее) – призыв Святослава был услышан воинами и выполнен ими. Автор же Ермолинской летописи просто фиксировал порядок событий.

Помимо героя-полководца в повести по Московскому своду есть и герой-организатор похода, сюзерен Святослава владимирский князь Юрий Всеволодович. Его роль подчеркнута в повести отдельными выразительными деталями. В начале повести говорится не только о том, что Юрий послал брата Святослава против булгар, но и о том, что именно великий князь назначил воеводой Еремея Глебовича, а также повелел послать полки Васильку Константиновичу ростовскому и муромским князьям. Победив, Святослав сообщил об этом Юрию, и великий князь встретил его у Боголюбова, а во Владимире наградил участников похода: “и створи князь Юрьи учреждение великое брату своему и воем всем по три дни, и многы дать дары брату своему златом и серебром и порты розличными и кони и оружием, аксамиты и паволоками и белью, тако же и вои одари повелику, коего же по достоинству. И отъиде Святослав с честию великою в град Юрьев” [3. С. 162]. Это описание содержит ряд необычных компонентов. Во-первых, перечисление даров, данных победителю его сюзереном, напоминает скорее перечень военных трофеев, взятых в бою (ср., например, поход Олега на греков: “несыи злато, паволоки, овощь и вина, и всякое узорочие” – 907 г.). Особенно

распространены были такие описания в новгородских летописях; есть подобное перечисление и в “Слове о полку Игореве”: “... а с ними злато, и паволоки, и драгыя оксамиты”. Во-вторых, упоминание о том, что воины были награждены, не является уникальным. Необычно то, что их одарили *коегождо по достоинству*. Аналогия этому сообщению в более ранних памятниках есть только в Новгородской I летописи старшего извода в статье 1016 года о награждении Ярославом новгородцев после похода на Святополка.

Юрий в этом фрагменте – справедливый и милостивый сюзерен, осознающий значение воинского подвига брата и всех русских воинов и награждающий их по заслугам. Таким образом, сыновья Всеволода Большое Гнездо представлены как союзники в борьбе за интересы Руси, опытные воины и полководцы.

Мы рассмотрели три вида летописных повествований о походе 1220 года, представляющие разные интерпретации этого события. Текст Лаврентьевской летописи – вероятно, наиболее ранняя запись о событии, призванная лишь зафиксировать исторический факт. Повесть, вошедшая в Ермолинскую летопись – возможно, написана очевидцем, стремившимся более подробно передать основные события похода, представив его как значительную победу русских сил. Текст же в Московском своде обнаруживает явную тенденцию к возвеличиванию владимиросудальских князей-братьев и стремление к созданию яркого эмоционального повествования. Описательные элементы и изображение чувств героев, встречающиеся в этом варианте повести, соответствуют общим тенденциям в развитии летописного повествования в XV веке.

Литература

1. Шахматов А.А. Разыскания о русских летописях. М., 2001.
2. Приселков М.Д. История русского летописания 11–15 вв. СПб., 1996.
3. Московский летописный свод // Русские летописи. Рязань, 2000. Т. 8.
4. Ермолинская летопись // Русские летописи. Рязань, 2000. Т. 7.



РУССКИЕ ПЕРЕВОДЫ XVIII ВЕКА Ю.Т. ОКСЕНШЕРНЫ

© М. Ю. ЛЮСТРОВ,
кандидат филологических наук

Юхан Турренсон Оксеншерна большую часть своей жизни провел вне Швеции, литературную славу заслужил за пределами отечества, где мало был известен. Начав путешествие по Европе под руководством Н. Бергиуса (впоследствии суперинтенданта и автора “Опыта о гражданском состоянии и религии москвитов”. Стокгольм, 1704), он остался в Германии и в течение сорока лет “вел жизнь авантюриста”: менял веру и женился по расчету. В силу жизненных обстоятельств Ю.Т. Оксеншерна издавал свои сочинения на французском языке, на взгляд российского читателя, принадлежал европейской, а не малоизвестной шведской литературе, и именно этим привлек внимание русских переводчиков. Его единственное сочинение на шведском языке “Размышления в одиночестве” (Стокгольм, 1731) в России переведено не было.

Первая изданная в России книга Ю.Т. Оксеншерны – это “Размышления и нравоучительные правила” (СПб., 1771). Из предисловия к русскому изданию следует, что книга заинтересовала “благодетелей” переводчика несомненным литературным талантом и популярностью шведского автора, “который острым, важным и сладким слогом в сочинениях своих не последнюю между знатными писателями заслужил честь”. Правда, цель перевода состояла не в том, чтобы познакомить отечественную публику с творчеством знаменитого писателя, а лишь

продемонстрировать “благодетелям” свое знание французского языка: “чтобы узнать мне в том свой успех, предпринял по совету благодетелей моих перевести с французского на российский язык сие краткое сочинение г. гр. Оксенштирна”. Вероятно, по этой же причине для перевода была выбрана меньшая по объему часть французского издания.

С творчеством Ю.Т. Оксеншерны в России познакомились еще в 1758 году. В журнале “Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие” появились переводы его статей “О деньгах”, “О уединении” и “О философии” с подписью “переведено из Мнений графа Оксеншерна”. Нравоучительные рассуждения Оксеншерны были изданы вместе со статьями датского писателя и драматурга Л. Гольберга на схожую тему. О художественных достоинствах сочинений шведского писателя в 50-е годы XVIII века в России не говорили ничего.

В 1792 году вышел полный перевод “Мнений нравоучительных на разные случаи с правилами и рассуждениями господина графа Оксенштирна”, представляющий собой первую часть “Размышлений и нравоучительных правил”. Можно предположить, что как и в 1771 году, главной причиной перевода этого сочинения Оксеншерны на русский язык была его популярность на Западе: во второй половине XVIII века книга Оксеншерны была издана на немецком, английском, испанском, итальянском, польском, шведском и датском языках.

По замечанию исследователей, Оксеншерна “не глубок, но типичен”, “его афоризмы остроумны и либертиножно скептически в духе времени, но он не был оригинальным мыслителем”. Об оригинальности своих “мнений” сам Оксеншерна напрямую не заявлял, но, судя по всему, к некоторой парадоксальности стремился: “Сколь неразумно поступает тот человек, который себя мучит для приобретения многих и различных знаний; редко он в том успевает; но чтоб иметь в том желаемый успех, то требуется к тому великой труд, который истощает и прекращает жизнь; а хотя он и столь щастлив будет, что удается ему достигнуть до намеренного конца; однако не успеет он еще онаго коснуться, как смерть внезапно приходит и придаёт все гробу вечного забвения”.

Надо отметить, что в вопросах религии “свободомыслящий рационалист” Оксеншерна проявлял сдержанность, что позволило уже современным исследователям высказаться о его “истинном уважении к христианству”. В “Мнениях” этому предмету уделяется достаточно много внимания, правда, говорится, в основном, о переходе автора в католичество: “Христианин, оставивший мнения Лютеровы о некоторых членах веры, последует преданиям церкви Римския, останется всегда Христианином”. К моменту создания этого сочинения Оксеншерна был мальтийским кавалером, а по возвращении в 1723 году в Швецию вновь обратился в лютеранство. Однако для русского читателя факты биографии Оксеншерны являлись лишь материалом для нравоучительных изречений, сам автор в России был малоизвестен и, судя по всему, ма-

лоинтересен. На титульном листе всех европейских изданий “Мнений” автор именуется *графом Оксеншерой* без указания инициалов. Вероятно, европейские и шведские читатели знали, о ком идет речь. В свою очередь русский переводчик буквально воспроизводил текст оригинала. Кстати, Ю.Т. Оксеншерна получил в Европе имя Северный Монте-тень.

В отличие от европейских изданий сочинений Ю.Т. Оксеншерны, предисловие к вышедшему в Швеции религиозно-нравоучительному трактату “Размышления в одиночестве” подписано полным именем автора: *Юхан Турренсон*. Возможно, Оксеншерна специально акцентировал внимание на своем шведском происхождении и таким образом объявлял себя шведом-лютеранином (а не французом-католиком, каковым он являлся во время своего многолетнего пребывания за границей). В отличие от его сочинений на французском языке, среди стихотворных цитат здесь встречается шведское четверостишие, названное Оксеншерной “наша старая шведская пословица”. В написанных до возвращения в Швецию “Мнениях” национальная принадлежность автора не указывается и в историю русской переводной литературы Ю.Т. Оксеншерна вошел как писатель-космополит: “Я не могу выйти из удивления, которое мне причиняет безрассудное злоупотребление, коим изгнание называют наказанием. Оно нам запрещает только маленький уголок земли, а поелику все прочее оставляет на наше рассуждение, то для чего оно не почитать за такую подорожную, по которой можем поселиться там, где мы жить за благо рассудим”.





СОЧИНТЕЛЬ И ЕГО ТЕКСТ

Авторская оценка жанра романа литераторами XVIII века

© Е.М. ДЗЮБА,
кандидат филологических наук

В русской литературе 70-80-х годов XVIII века появились эпические сочинения особого рода, которые принадлежали перу М.Д. Чулкова, М.И. Попова и В.А. Левшина. Жанровая природа их сочинений в литературоведческой науке в разные периоды определялась неоднозначно. Для современников Чулкова, Попова и Левшина роман и сказка в жанровом отношении находились в одной плоскости эстетического осмысления, так как в XVIII веке сказкой называли различные виды прозы.

Роман всегда оставался территорией второстепенного творчества, расположенного за пределами классической поэтики. М.В. Ломоносов в “Риторике”, уравнивая романы и сказки в жанровых характеристиках, не оставлял для них места среди сочинений, несущих в себе “добрые нравы” [1. С. 207]. А.П. Сумароков отказывал роману даже в возможности стать развлекательной литературой, ибо чтение романов – это “погубление времени” [2. С. 374–375].

В начале XIX века отечественная историко-литературная наука все еще относила жанр романа к второстепенной литературе, указывая на

общую *вымышленную* природу романа и сказки. А.Ф.Мерзляков в раздел “Романы” “Краткой риторики” (1809) поместил все известные видовые варианты “вымышленного повествования”, то есть повести и сказки [3. С. 69]. Н.И. Греч фактически поставил знак равенства между понятиями “исторический роман” и “сказка” [4. С. 325].

Роман предлагалось воспринимать как вымышленное повествование, “баснословную” (с включением мифологии) историю в XVIII и на рубеже XIX века. Кроме того, теоретико-литературная наука этого периода пыталась обнаружить в каждом новом жанровом образовании некую неизменную сущность – уже известную жанровую природу, найти модель, черты которой воспроизводил новый жанр (например, героическая поэма, рыцарский роман, фольклорная сказка, “романтическая” поэма).

В период становления роман в России, безусловно, испытал влияние западноевропейских образцов жанра. Заметный вклад в формирование представлений о жанре романа внесли журнальные публикации и деятельность переводчиков, таких, как И. Елагин, Д. Фонвизин, Ф. Полонский, И. Крюков и др. Следовательно, к моменту появления сочинений Чулкова, Попова и Левшина отечественные авторы, писавшие романы, могли оценить свои сочинения с позиции нравственной пользы, а также попытаться определить и его жанр.

Процессам усвоения чужого опыта и накоплению собственного посвящена коллективная монография “История русской переводной художественной литературы”, написанная в конце XX века [5].

В отечественном литературном процессе последней трети XVIII века сложилась непростая ситуация, которая не только отражала специфическое положение романа в русской литературе, но и требовала авторского отношения к жанру сочинения. В силу этих особенностей, как нам кажется, наиболее точное определение жанра произведений XVIII века мог дать только сам автор текста.

Сборник М.Д. Чулкова “Пересмешник”, в состав которого вошли “Словенские сказки” и “Сказка о рождении тафтяной мушки”, оценивался в литературоведческой науке как пародия на романский жанр. Если Ломоносов ставил знак равенства между сказками и романами, то Чулков оговаривался, что сказка – сочинение, не связанное с условностями жанра, а потому более свободно по своей природе, чем роман. Он говорил, что фантазия романиста относительно реальной биографии героя может завести его далеко; тогда как повествователь-сказочник может обойтись без романских украшений: “А я <...> как сказываю сказку, то без всяких пышных украшений буду продолжать мое повествование сначала” [6. С. 154].

В тексте “Сказки о рождении тафтяной мушки” возникает оппозиция *роман – сказка*, а не соположение этих понятий. Причем, знакомый ему роман осмысливается как жанр лживый, но и сказка в том смысле,

в котором Чулков использует это понятие, не имеет отношения к аналогичному фольклорному жанру. Создавая пародию на роман, стремясь к циклообразующему единству, М.Д. Чулков отрицал старые и создавал новые целевые установки для романа.

На наш взгляд, доказательством этого может служить появление двух рассказчиков, ведущих самостоятельные повествовательные линии в сборнике “Пересмешник” – *Ладона* и *монаха*; два плана повествования внутри “Сказки о рождении тафтяной мушки” (пародия на роман и “своя” сказка); мифологические и исторические комментарии, синтезированные со сказочными формулами текста “Словенских сказок”. При этом в “Пересмешнике” формируется один из главных принципов нового романного повествования – *болтовня с читателем*. Этот прием уравнивает короткую дистанцию между автором и читателем, а также “перекидывает” мостик к новому роману Чулкова “Пригожая Повариха.”

В тексте “Пересмешника” Чулкова можно обнаружить, с одной стороны, “ложную авторскую лабораторию”, а с другой – настоящую мастерскую. Приведем лишь один пример, демонстрирующий этот прием Чулкова: “Сие нравоучение [сетование Неоха, одного из персонажей, о переменчивости счастья. – *Е.Д.*] *поставлено тут некстати*, но это самое и красота книги; стихи украшает рифма, а романы и сказки украшаются нравоучением, *поставленным некстати*, и еще больше занятым у какого-нибудь хорошего сочинения.

По правилам сочинения романов или сказок в сем месте должно описывать разлуку любовников, как они проклинают свою жизнь, желают всякий раз смерти <...> Но я последую здравому рассуждению и буду сказывать то, что больше с умом и природою сходно” [6. С. 173–174. Курсив наш].

Наличие невероятного, чудесного в текстах “Пересмешника” и отсутствие этих свойств в “Пригожей поварихе” отнюдь не мешают выявлению общих черт, свойственных сочинениям М.Д. Чулкова. Существенным свойством всех его романов стало тяготение к мифопорождающему творчеству, свойственному всему XVIII веку русской литературы [7. С. 37–38].

М.Д. Чулков, на наш взгляд, создал в “Словенских сказках” поле для эксперимента с жанром романа. Та “сказка”, которую сочиняет его рассказчик Ладон, уже содержит в себе материал для появления новой разновидности романа, в центре внимания которого окажется славянская мифология и история.

Только М.И. Попов назвал свое сочинение “Славенские древности, или Приключения славенских князей” *романом*. Историко-литературная ценность сочинения М.И. Попова связана не столько с введением в текст “Славенских древностей...” сведений по истории жизни славянских племен, исторических концепций и словаря “древнего славенского языческого баснословия” в конце книги, сколько с фрагментами поле-

мической направленности в тексте произведения и размышлениями автора над свойствами жанра сочинения.

Размышление над собственным художественным творением является фактом, зафиксированным текстом М.И. Попова. Идея обозначить жанр в тексте сочинения, объяснить читателю (в том числе, коллеге по ремеслу), что же он пишет, пришла к автору во второй части “Славенских древностей...”, где сами персонажи дают жанровые характеристики повествованию: *повесть* – “повесть его меня весьма увеселила”; *история* – “вот история моя, о которой хотел я вас уведомить”; *повествование* – Бориполк благодарил Видостана “за его повествование” [8. С. 94, 96]. В тексте “Славенских древностей...” повествовательная эпическая стихия закрепляется Поповым (повесть, повествование, история, “приключения славенских князей”). Но в Предуведомлении ко второй части книги М.И. Попов изменил жанровое обозначение для подобного рода сочинений: “За нужное счел я изъясниться перед моими читателями <...> Намерение мое, услужить обществу посильным трудом, было мне побуждением сочинить **сию сказку, или так называемый роман** <...> я ее украсил некоторыми нашими Древностями <...> к описанию коих прибавил я **несколько вымыслов** <...> присовокупил: или *Приключения Славенских князей*, что ясно означает роман, а не историю о наших Древностях, как некоторые мнили найти [полужирный – наш; курсив – М.И. Попова. – Е.Д.]” [10. Ч. II. Предуведомление].

В Предуведомлении М.И. Попова ясно обозначена природа его текста – *сказка, вымысел, приключение*, то есть *роман* – при этом обнаруживается доминанта вымысла, фантазии, которую позднейшие писатели считали одним из основных признаков жанра. Именно поэтому в Предуведомлении указывалось на оппозицию *роман-история (вымысел – правдивое изображение)*, которая, по традиции XVIII века говорит о жанровом характере текста. Эта же оппозиция выведена в заглавие, но, по мысли М.И. Попова, именно подобное сочетание образов – *древности/история – вымысел/приключения* – должно снять все недоумения в процессе знакомства читателя с романом. В целом же, М.И. Попов сохранил в своем романе все те признаки, которые свойственны и сочинениям М.Д. Чулкова: *авторская реконструкция модели древнего славянского мироустройства, осуществляемая в романах традиционного волшебного-рыцарского и авантурного сюжетно-композиционного клише; включение в текст легендарно-мифологических сведений о расселении славян.*

Определяя жанровую природу “Русских сказок” В.А. Левшина, литературоведы достаточно осторожны в выборе конкретных характеристик, по сравнению, например, с оценкой “Славенских древностей...” М.И. Попова [9, 10, 11].

Авторская позиция по отношению к текстам подобного рода содержится в Предисловии к изданию “Bibliothek der Romane”, переводчиком

которого В.А. Левшин был: “Романы были первые книги большей части народов. Они содержат вернейшие изображения наших времен, наших обычаев, пороков и добродетелей. Они суть толико же изображение нравоучительных картин, где истина скрывается под покрывалом выдумки. Дичайшие орды, равно как просвещенные народы, имеют оные собственные” [12. Ч. 1. С. 3–4].

“Русские сказки” В.А. Левшина появляются как итог размышлений над процессом становления эпических жанров в западноевропейской литературе. «Я заключил, – пишет он в “Известии”, предвещающем “Русские сказки”, – подражать издателям, прежде меня начавшим подобные предания, и издаю сии сказки Русские, с намерением сохранить сего рода наши древности, и поощрить людей, имеющих время, собрать все оных множеств, чтобы составить Библиотеку Русских Романов» [13. Ч. 1.С. 139].

В Предисловии Левшина и в названии издания пересекаются традиционные для этого периода определения жанра: **романы** – западные, а отечественные тексты – **сказки** и **приключения**, оценивавшиеся в литературе XVIII века как жанровый аналог собственно романа. В самом же тексте “Русских сказок” в центре внимания автора оказывается народная “история”, что, на наш взгляд, подтверждается преобладающим компонентом содержания текстов. Как и в сочинениях Чулкова и Попова, мы обнаруживаем у Левшина стремление к использованию “легендарного” материала (“Повесть о золотом сосуде”), исторических концепций, данных в контексте образной системы былины и сказки. Сравнив тексты произведений и задачи, которые поставили перед собой сами авторы, мы пришли к выводу о существовании в русской литературе 70–80-х годов XVIII века особой жанровой ситуации, при которой могла идти речь о становлении новой разновидности оригинального русского романа, опирающегося на древнюю историю, национальную мифологию – древнюю и порождаемую современным авторам обществом. Сказочный или былинный сюжет, элементы фантастического в структуре сочинений Чулкова, Попова и Левшина являются сигналом жанрового ориентира, а роль видовой доминанты текста играет синтез исторической канвы повествования и мифопоэтической обработки этого материала, который и диктует формальные приемы изображения. Таким образом, собственно литературный механизм создания текста отражает переходное состояние жанра, который по своей внутренней сути направлен к жанру романа.

Литература

1. *Ломоносов М.В.* Краткое руководство к красноречию. Книга первая, в которой содержится Риторика // Соч. В 8 т. СПб., 1895.

2. *Сумароков А.П.* О чтении романов // Трудолюбивая пчела. СПб., 1780.
3. *Мерзляков А.Ф.* Краткая риторика, или Правила, относящиеся ко всем родам сочинений прозаических. М., 1809.
4. *Греч Н.И.* Чтение о русском языке. СПб., 1840.
5. История русской переводной художественной литературы. Древняя Русь. XVIII век. Проза. СПб., 1995.
6. *Чулков М.Д.* Пересмешник. М., 1988.
7. *Лотман Ю.М., Минц З.Г.* Литература и мифология // Труды по знаковым системам. Тарту, 1981.
8. *Попов М.И.* Славенские древности, или Приключения славенских князей. СПб., 1770–1771.
9. *Троицкий В.Ю.* Предромантические веяния // Русский и западноевропейский классицизм. Проза. М., 1982.
10. *Лотман Ю.М.* “Слово о полку Игореве” и литературная традиция XVIII – начала XIX века // *Лотман Ю.М.* О русской литературе. Статьи и исследования (1958–1993). СПб.
11. *Корепова К.Е.* У самых истоков. Вступительная статья // Лекарство от задумчивости. Русская сказка в изданиях 80-х годов 18 века. СПб., 2001.
12. Библиотека немецких романов. Переведена с берлинского 1778 года издания Всл. Левшиным. М., 1780.
13. *Левшин В.А.* Русские сказки, содержащие Древнейшие повествования о славных Богатырях, сказки народные и прочие, оставшиеся через пересказывания в памяти Приключения. М., 1780.

Нижний Новгород





Лексика “плутней” карточной игры в XIX веке

© И. Н. КАТАЕВА

Исследуя дворянский быт XVIII–XIX веков, Ю.М. Лотман пришел к выводу, что “карточная игра образовывала свой особый круг участников, свои манеры поведения и <...> собственный язык. Основу его составляла карточная терминология, необходимость точно и недвусмысленно определять действия и ситуации, поскольку всякая словесная неопределенность могла бы сделаться источником заблуждений и обманов” [1. С. 146–147].

Действительно, лексика карточного шулерства таит в себе немало тайного и нераскрытого. Объясняется это тем, что в XIX веке азартные карточные игры, в отличие от коммерческих, относились к “вредным развлечениям” [2]. Устав благочиния 1782 года предусматривал уголовную ответственность для профессиональных игроков, содержателей и посетителей игорных домов, шулерство приравнивалось к мошенничеству, поэтому специфическая лексика карточного шулерства не нашла должного отражения ни в словарях XIX века, ни в мемуарной и художественной литературе, где шулерские приемы описаны кратко, а иногда только упомянуты. Лишь благодаря немногим источникам становится возможным выявление и изучение лексики “плутней” карточной игры [3], тайного языка шулеров – профессионалов, для которых «“картежное воровство” сделалось основным и постоянным источником существования» [1. С. 159]. Запечатленные в литературных текстах термины шулерской игры создают достоверность изображения, приближают нас к реальным событиям той эпохи.

Изучение лексики шулерской игры свидетельствует, что литературная речь того времени обогащалась “игрецкими” терминами и понятиями.

В лексике карточного шулерства можно выделить несколько тематических групп:

1. Наименования участников шулерской игры: *шулер, мастер, артист, ученый, ложный брат, плутень, плут, мошенник, хлюзда, мастак.*

2. Наименования различных действий шулеров: *играть на верное, на верняка; играть на понтерку, на метку; кропить, накалывать; передегивать, обрезать, резать, срезка на крючок, резка с губкою, резка на точку; жулить, подтасовывать, подчищать, расклейка колод.*

3. Наименования внешнего вида карт: *очко, выдвижное очко, липковое очко, карта без очка, очковые карты, двухглазая тройка, короб, горб, именки, бочонки, клины, вырезки, верховка, пружинковые карты, порошковые карты, коемка, гильотина, теневая колода, крап, крап наколкой, крапленые карты.*

4. Наименования различных инструментов для изготовления шулерской колоды: *волчий зуб, вишневый клей, медные доски, тонкие ножницы, пресс или тиски, липок, стол-кружка, двойной мелок, губка, мазь, крючок, пемза.*

В русском языке слово *шулер* известно с начала XIX века, заимствовано из немецкого *schollerer* в значении “устроитель азартных игр”. Слово является суффиксальным производным со значением лица от названия азартной карточной игры *scholler*. М. Фасмер отмечал польское и чешское посредничество (*szuler* – шулер, *šulař* – обманщик) [4. Т. IV]

В словарях XIX века значение лексемы *шулер* не фиксируется. Учитывая употребление этого слова в текстах, можно дать следующее толкование: “игрок в карты, применяющий мошеннические приемы при игре с целью выгоды”.

Как свидетельствуют многочисленные примеры, лексема *шулер* употреблялась в единственном и множественном числе (*шулера, шулеры*). В обеих формах слово активно функционировало: “Они не забывают, однако ж, говорить о своем беспристрастии, разумеется, точно так же, как говорят о благородной и честной игре своей все картежные шулера” (Загоскин. Москва и москвичи); “Мне рассказывали, что несколько раз знаменитые шулеры, т. е. фальшивые игроки, составляли против него заговоры, чтобы обыграть его на верную, и всегда платили за это дорого” (Булгарин. Воспоминания); “Вообще наши шулера ни в чем не уступали французским грекам” (Пыляев. Старое житье).

Слово *шулер* встречается в текстах XIX века в составе атрибутивных словосочетаний, в основном, с негативной оценкой, одно из первых словоупотреблений лексемы *шулер* относится к 1838 году: *картежный шулер* (Загоскин. Искуситель); *skonфyзившийся шулер* (Загоскин. Москва и москвичи); *опасный шулер* (Соллогуб. Неоконченные повести); *разорившийся шулер* (Сухово-Кобылин. Свадьба Кречинского); *мелкостатейный трактирный шулер, нахальный шулер, шулер воинствующий* (Лесков. Некуда).

Объясняется это тем, что в обществе “эти артисты, играющие на верняка и всегда скрывающие свой талант, и составляют для всех чест-

ных людей опасную пропасть гибели” [3. С. 5]; “Многие полагали даже, что публичная игра, хотя и противна правилам порядка и нравственности, однако же не производит столько бедствий, как игра тайная, в которой несколько шулеров, сговорившись, просто грабят неопытных или страстных игроков” (Булгарин. Воспоминания). Шулеры названы артистами в значении “мастер своего дела, искусник, мастак”, а также ворами в значении “плут, мошенник, обманщик” [5. С. 243]: «Народ смотрит на карточный выигрыш как на воровство, отметив это в пословице “Игрок кум вору”» [1]; “Этот картежный шулер и патентованный вор, всегда готовый стреляться за честь свою, был очень видный мужчина, но в жизнь мою я не видел лица наглее и бесстыднее” (Загоскин. Искуситель); “Шайки Варшавских и Виленских шулеров разъезжали из одного штаба русских войск в другой штаб и прибирали добычу” (Булгарин. Воспоминания).

В. Даль в Словаре указывал, что во владимирских и сибирских говорах шулера, как и любого плута, обманщика, мошенника, называли *хлюзда* [5. Т. IV]. Существительное *хлюзда* образовано от глагола *хлюздить* в значении “кривить душой, жилить, присваивать себе чужое”. Словарная статья сопровождается примером: “*схлюздить в картах, сплutowать*”.

В одном из словарей XIX века слово *шулер* фиксируется с пометой *белорус., малорус.*, во 2-м значении фиксируется как *мастак в игры*: “компания шулеров, во главе которой стоял известный мастак во все игры” [6].

Судя по текстам XIX века, слово часто встречалось и имело однокоренные образования: *шулерский, шулерничать*: “Я, брат, сам по этой дорожке бегал, так что все шулерские приемы знаю и тебе говорю, что в очках – это шулер” (Л. Толстой. Два гусара); “И после того как эта шулерская проделка эклектического философа была печатно выведена наружу, кто же теперь не знает, что кузен – шарлатан?” (Белинский. Русская литература в 1844 году); “Шулерничать не было считаемо за порок, хотя в правилах чести были мы Г (кавалергардские офицеры) очень щекотливы” (Волконский. Записки).

Смысл игры для шулеров можно определить понятиями того времени: *играть наверное, наверную, наверняка*. Учитывая значение этих словосочетаний в словаре В. Даля и употребление их в речи игроков, можно дать толкования: *играть шулерски, мошеннически*: “Он играет наверную, шулерски. Играть наверняка, шулерски, мошеннически, безошибочно, не доверяя случаю, удаче, сомнению” (Даль); “Вот в том и беда, что многие играют и выигрывают не на счастье, а на верное” (Мать шулерству); “Ты имеешь дерзость сказать мне в глаза, что я шулер, обыгрывающий наверняка своих партнеров” (Писемский. Масоны).

По-видимому, существовали две группы наименований, характеризующих действия шулеров, с помощью которых игрок мог обыгрывать наверную: *на понтерку* и *на метку* [3].

Обратимся к первой группе наименований, относящихся к понятию “на понтерку”. *Понтеркой* называлась “карта играющего, поставленная против банкмета” [7. Т. II. С. 314]: «[Тут лежала] колода изогнутых карт, завернутая в бумагу, на которой рукой папá надписано было: “понтерки, на которые в 1814 году я в ночь 17 января отыграл все проигранное свое состояние”» (Л. Толстой. Детство). Выделим наименования, относящиеся к приемам игры “на понтерку”: *двухглазая тройка*, *тенивая колода*, *коемка*, *стол-кружка* [3].

Играть на понтерку значило правильно использовать заранее подготовленные к игре карты.

Чтобы понять смысл термина *двухглазая тройка*, необходимо знать, что в речи шулеров – картежников XIX века – бытовало три названия очковых карт от двойки до десятки: собственно *очковые*, *пружинковые* и *порошковые*. Причем *очковыми* в шулерской среде называли карты с выдвинутым очком, которое делается между двойным листом карты, выдвигаясь и скрываясь по произволу: “карта без очка (шулерск.) – на шестерке стирается среднее очко с одной стороны: прикрыв пальцем либо место это, либо супротивное очко кажут шестерку или четверку” [5. Т. II]; “Или у обыкновенной тройки соскабливают одно из крайних очков и, держа карту в правой руке закрытою, ждут, будет дана тройка или двойка” [3. С. 14]. Очко вклеивалось на специальную мазь, которая называлась *липок*. По Далю, “это мазь липкая, но не маркая, которой спаивают две карты и дают средство ставщику вскрыть любую, соответственно, липковое очко – этой же мазью наклеенное очко, которое легко отстаёт, если шаркнуть картой” [5. Т. II]. Мазь для липка готовилась так: “Берется самого чистого свечного сала две части и лучшего белого воска одна часть, потом на серебряной ложке стапливается все вместе и употребляется для намазывания карт” [8. Т. II]. Слово *липок* образовано от глагола *липнуть* в значении “приставляться, сцепляться, приклеиваться” [5. Т. II].

Для втирания очков использовались *порошковые карты*, “в которых наведено порошком на мази добавочное очко, которое можно, коли нужно, стереть, вскрывая карту” [5. Т. III]. О порошковых картах упоминал Пушкин в “Пиковой даме”: “Может статься, порошковые карты”. В российском сочинении “Жизнь игрока, описанная им самим или открытые хитрости карточной игры” содержится описание приготовления порошковых карт: “Порошковые карты делаются так: берется, например, шестерка бубен. На том месте, где должно быть очко для составления семерки, помазывается некоторым несколько клейким составом, потом на сию карту накладывается другая какая-нибудь карта, на которой на том месте, где на первой карте надобно сделать очки, прорезано точно такое очко. В сей прорез насыпается для красных мастей красный порошок, а для черных – черный. Сей порошок слегка прилипает к помазанному на карте месту, и когда нужно бывает сде-

лать из семерки шестерку, то понтер, вскрывая карту, должен шаркнуть излишним очком по сукну, и очко порошковое тотчас исчезает” [8. Т. I. С. 55–56]. В романе Д.Н. Бегичева “Семейство Холмских”, изданном в 1833 году, описывается подобная ситуация: “Надобно самому играть на верное. Он слышал, что один стер с шестерки одно боковое очко, поставил темную с тем, что ежели выиграет четверка, показать карту с того бока, где стерто, а ежели шестерка, то, перевернув проворно карту, показать ее, зажав пальцем стертое очко”. В это действие, которое как шулерская уловка было рассчитано на выигрыш путем обмана, вкладывалось помимо прямого профессионального содержания, более общее значение. *Втирать очки* значило “путем ловких ухищрений изменять действительность, представляя, показывая ее в нужном для выигрыша, для достижения преимуществ освещении”. Устойчивое выражение *втирать очки* как блестящий технический шулерский прием, обеспечивающий удачу, закрепилось в языке в значении “в своих интересах, для своей выгоды внушить кому-нибудь ложное представление о чем-нибудь, представляя действительность в фальшивом, но выгодном для себя свете”.

Пружинковыми называли карты “бубновые, с поддельным очком, которое выдвигается против вырезки на пружинке, пропущенной меж двух листов карты” (Булгарин. И.И. Выжигин). У пружинковых карт было второе название, не зафиксированное в словаре, но употреблявшееся Ф.В. Булгариным в романе “И.И. Выжигин”: *Гильотина* – “это инструмент русского изобретателя, хотя французского названия, и зато не такой страшный, как французский. Вот извольте видеть: карта расклеивается, и вот на этой часовой пружине насаживаются вырезанные очки. Пружина укреплена в середине, а кончик ее выходит сбоку карты. Двигая пальцем кончик, очки прячутся или выходят по произволу. Гильотина делается из всех карт, кроме фигур”.

Шулерский термин *теневая колода* в специальной литературе объяснялся так: “Шесть каких угодно карт каждой масти отглаживают гладкой костью по изнанке вдоль карты, до половины поперечной ширины, отчего та сторона карты получает лоск. Понтер садится напротив банкмета, и как зрение его падает наклонно вдоль колоды, то от свечей делается на поверхности отглаженных карт подобие тени вдоль по отглаженному месту” [3. С. 15]. Далее он разрабатывает уже свою тактику игры. Слово *теневая* употреблено в значении “менее освещенная, находящаяся в тени”.

Каемкой называется карта, отмеченная по рубчику или кромке, черточкой в дюйм синего или красного цвета в зависимости от крапа на картах колоды. Учитывая употребление слова, можно дать толкование “край, кромка, полоса по краю для лучшего ее узнавания”.

Стол-кружка использовался шулерами в качестве очередной уловки: “Это обыкновенный ломберный стол со старым, вытертым и даже

разрезанным сукном, а под разрезом сукна, который почти не заметен, прорезан и стол, так, что в щель может свободно пролетать карта” [3. С. 19]. В одном из значений у В. Даля *кружка* – “жестяной или иной сосуд с узкой скважиной в крышке и с замком для сбора подаваний и вкладов” [5. Т. II]. Вероятно, этот шулерский термин так назван по сходству с одним из значений слова *кружка*.

Для изготовления шулерских колод использовали различные инструменты. Толкования названий отсутствуют в словарях XIX века, но они встречаются в литературных текстах: “волчий зуб использовали для лощения крапленых карт, вишневый клей для склеивания их, медные доски разного формата для обрезывания карт тоненькими ножницами, пресс или тиски для сжатия распечатанных и вновь запечатанных карт” (Булгарин. И.И. Выжигин).

Действия шулеров, с помощью которых они обыгрывали наперную, можно назвать *на метку*. В эту группу входят: *крап*, *баламут*, *срезка на крючок*, *резка на точку*, *резка с губкою*.

Слово *на метку* образовано от глагола *метить* в значении “отличительный знак на какой-нибудь вещи”, в нашем случае – на игральных картах. Метку делали крапом и наколкой: “Распечатайте новую колоду и всмотритесь пристальнее в крап каждой карты, – вы найдете, что многие карты краплены темнее, некоторые светлее; а потому по цвету крапа, такими же чернилами, на замеченных картах, наводят отпечатанные точки темнее, не делая никаких посторонних знаков по углам карт” [3. С. 23]. “Эти карты могут заменять наколки и особые метки на углах карт и доставлять шулеру возможность вести игру в свою пользу” [Там же].

Многозначное слово *крап* образовано от глагола *кропить* в значении “брызгать, обдавать каплями, крапинами”. Как карточный термин *крап* в первом значении представляет рисунок на рубашке, изнанке, на задней стороне карт, во втором значении (как шулерский термин) – отличительный знак, точка, особая метка на рубашке нескольких карт или всей колоды. Различают *именной крап*, *крап по разряду* и *крап наколкой*. Во всех трех составных наименованиях стержневым является слово *крап*. Прилагательное и наречия указывают на разновидности крапа. *Именным* называется шулерский крап, если все карты колоды мечены с левого угла. Соответственно, такие карты называются *именками*. *Крапом по разряду* называется крап, если только некоторые карты мечены. *Крап наколкой* использует шулер в игре, когда ему нельзя подменить карты, и во время игры он метит карты острым ногтем указательного пальца [5. Т. II]. Впервые шулерский термин *крап* зафиксирован в Словаре В. Даля. Судя по текстам XIX века, слово было активно и имело однокоренные образования: *крапленый*, *кропить*, *крапать*, *перекрапать*, *подкрапливать*, *подкрапнуть*: “Обе талии ему показались очень похожими на искусственные, и самый крап выглядел весьма

подозрительно” (Гоголь. Мертвые души); “Висленев с помощью крапа и сыпных очков готовился с чувством и любовью доказать, что черное белое, а белое черное” (Лесков. На ножах); “Висленев допил свой стакан кофе и принялся за обработку крапа и очков в колоде” (Лесков. На ножах); “Его крапленые колоды / Не раз невинные доходы / С индеек, масла и овса / Вдруг пожирали в полчаса” (Лермонтов. Тамбовская казначейша).

Крапленая колода в пьесе Н. Гоголя “Игроки” была названа шулером Швохневым женским именем *Аделаида Ивановна*: “До сих пор рябит в глазах проклятый крап... Вот она, заповедная колодишка – просто перл! За то ж ей и имя дано, да: Аделаида Ивановна”.

В отдельной словарной статье В. Даль указывал, что существовал особенный крап, который назывался *верховка-тень*. Это был самый тонкий способ крапа, при котором не прибавлялось ни одной точки, а в известных местах проходил тот же узор и той же краской, отчего он против света показывал тень [5. Т. I].

Следующим шулерским термином является *баламут*. Точной этимологии слово не имеет. Известно в восточных и западных славянских языках в значении “шаловливый”. По другой этимологии – “сплетник, спорщик, лгун, умышленно поселяющий раздор, ссоры”. По Фасмеру – шулерский способ карточной игры [4. Т. I]. Как шулерский, термин *баламут* фиксируется в письме А. Пушкина Вяземскому (от 5.11.1830) в устойчивом сочетании *метать баламут*, в Словаре В. Даля, в литературных текстах: “Да разве ни видишь ты, что мечут нам чистый баламут, а мы еще понтируем! Ни одной карты налево, а мы все-таки лезем”. У Даля *баламут* – “шулерский способ укладки карт, чтобы они, при шулерской же тасовке, всегда оставались в том же порядке: колода обрезывается через карту, поуже, чтобы всегда снималось под широкую” [5. Т. I]. Синонимами являются слова *фараон* и *кругляк* в значении “укладка карт в известном порядке и фальшивая тасовка”. Судя по контексту, слово употреблялось именно в этом значении и в сочетаниях *легкие баламуты* и *играть на баламута*: “Вот баламуты, то есть известное число карт, подрезанных таким образом, что при тасовке выбираются широкие и укладываются вместе, по исчислению. Баламутов множество, и их укладывают разными ключами. Есть такие, где все первые тридцать карт проигрывают, т. е. понтер не выигрывает ни одного куша; есть баламуты легкие, с большим числом плие и с фальшивыми рутье. На баламута играют только с неопытными” (Булгарин. И.И. Выжигин).

Терминами, характеризующими действия шулеров, являются также многозначные глаголы *резать* “остричь уголки известных шулеру карт едва только заметно осязанию”, *обрезать* (с образованными от него существительными *резка*, *резка на точку*, *резка с губкою*, *срезка на крючок*), *подчищать* (при помощи пемзы проводить по краю карты, чтобы она была заметной наощупь), *передёргивать*.

Значение словосочетаний, характеризующих действия шулеров, обусловлено значениями их частей. Конкретизация действий шулеров осуществлялась за счет наименований *резка на точку*, *резка с губкою*, *срезка на крючок*. Причем действие невозможно совершить без инструментов: губки, мази, маленького крючка, пемзы. Игральные карты в шулерской колоде, обрезанные или согнутые особым образом, также имели свои названия: *клины* (часть колоды срезается клином, уже к одному концу), *бочонки* или *врезки* (срезаются в виде бочонка), *коробки* или *горбы* (часть колоды сгибается горбом).

Глагол *передергивать* в значении “прием при сдаче или вскрытии карты, коим верхняя карта заменяется второю или уносится под испод колоды” фиксировался еще Словарем Академии Российской (1806–1822) с пометой – *в речи игроков*. В середине XIX века лексема активно функционировала в составном наименовании *передернуть карту* уже как шулерский прием: “Заметил, как сыщик во время сдачи поднес карты к губам, почесал ими в усах и моментально передернул туза червей” (Щедрин. Идиллия); “Самообладанием отличается шулер, когда смотрит всем в глаза, чтобы не заметили, как он передергивает карту” (Лесков. На ножах).

В своей речи шулеры использовали разнообразные картежные выражения, которые обрастали своей мифологией. Словарь картежной игры оказал влияние на русский литературный язык: в речь того времени вошло множество “игрецких” терминов и понятий.

Литература

1. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства XVIII–XIX века. СПб., 1994.
2. Булгаковский Д.Г. Что такое азартные карточные игры. СПб., 1903.
3. Мать шулерству или окончательное изобличение плутней карточной игры. СПб., 1861.
4. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1987.
5. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1978.
6. Словарь русского языка. Сост. Вторым отделением Имп. АН, под ред. Я.К. Грота. СПб., 1891.
7. Чернышев В.И. Темные слова в русском языке // Избранные труды. В 2 т. М., 1970.
8. Жизнь игрока, описанная им самим или открытые хитрости карточной игры. В 2 т. М., 1826–1827.

“ДУМА НАРОДНОГО ГНЕВА”

О речевой агрессии в Первой Государственной Думе

© С. А. ГРОМЫКО

Торжественное открытие I Государственной Думы состоялось 27 апреля 1906 года. С точки зрения развития устного публичного общения в России, открытие Думы ознаменовало возникновение и интенсивное формирование целой отрасли публичной речи – парламентского красноречия.

Просуществовав всего 72 дня (по причине своей непримиримой оппозиционности правительству), первый российский парламент запомнился современникам как образец русского парламента вообще; как некий ориентир парламентского общения, который так или иначе на правил ход полемики и в последующих Думах.

Особая роль I Думы в истории российского парламентаризма и в развитии устного публичного политического общения становится понятной, если вспомнить, что до 1906 года в России не было парламента как демократического народного представительства, следовательно, не было и какого-либо набора готовых речевых моделей, рамок, правил публичного участия в официальной политической полемике.

То, что с первых же заседаний Думы началось активное формирование национального парламентского речевого идеала, свидетельствуют мемуары, дневники и пресса, отразившие впечатления современников о происходившем в Думе: “Государственная Дума шумит. Министров при их следовании в Таврический дворец публика провожает свистом, в Думе встречают их не лучше” [1. С. 43]. Целостность думской полемики, ее настроя породила ряд образных сравнений и названий I Думы. Например, видный политический деятель начала века С.Ю. Витте назвал первый российский парламент “Думой общественного увлечения и государственной неопытности” [2. С. 339]. Однако прижилось и получило широкое распространение другое, более меткое и емкое, по мнению современников, название I Думы, авторство которого приписывается либерально настроенным журналистам: «Государственная Дума получила прозвище “Дума народного гнева” и проявляла свой гнев в каждом заседании» [1. С. 44].

Действительно, эмоциональный накал в I Государственной Думе был очень высок, так как ведущую роль в полемике играла речевая агрессия. Однако и в современных российских Думах разных созывов конца XX – начала XXI века речевая агрессия также характерна для ре-

чевого общения депутатов. Тем не менее, трудно себе представить, чтобы современные отечественные парламентарии были бы названы в прессе “Думой народного гнева”. Все-таки народный гнев, несмотря на всю серьезность обсуждаемых в сегодняшней Думе проблем, не может воплотиться в современной словесной перепалке или брани в парламенте. Это прозвище интересно тем, что даже в случае его ироничного употребления данное наименование трудно расценивать как обычный политический ярлык, суть которого “заключается в его обвинительной направленности: становясь ярлыком, имя используется не столько для характеристики денотата и отнесения его к классу, сколько для обвинения в опасных для общества свойствах” [3. С. 123]. В чем же заключалась специфика речевой агрессии в “Думе народного гнева”?

Речевая агрессия в политическом общении – это “речевые акты и коммуникативные ходы, направленные на причинение ущерба политическому противнику” [3. С. 230]. В отличие от других средств отрицательной оценки, речевая агрессия направлена на “понижение социального (политического) статуса объекта” [3. С. 230–231]. С одной стороны, вербальная агрессия в I Государственной Думе генетически связана со вспышкой митинговой активности и революцией 1905 года. Большинство депутатов Думы были свидетелями, а ряд народных представителей и участниками крупнейших в истории России митингов, прошедших в 1905 году в Петербурге, Москве, Киеве, Одессе и других крупных городах. Дума унаследовала митинговый пафос – особую реализацию гражданского пафоса, суть которой заключается в последовательном коллективном нагнетании эмоций, отодвигающих на второй план информационную составляющую речевого общения. С другой стороны, в качестве средства понижения политического статуса противника в Думе было признано недопустимым использование грубой, бранной лексики, не говоря уже об остальных маркерах митинга как формы карнавальной культуры [4. С. 217]. Председатель I Государственной Думы С.А. Муромцев сформулировал границы агрессивного речевого поведения следующим образом: “Мысль резкая может быть допустима, но форма не должна быть оскорбительна” [5. Т. I. С. 651].

Тем не менее, депутаты первого российского парламента так и не смогли избавиться от митинговых моделей речевого поведения. Наиболее ярко это отразилось именно в проявлениях вербальной агрессии, распространенным средством которой были выкрики с места лозунгов и вердиктов, что иногда приводило к действиям, близким к игровому карнавальному поведению. Например, выступавший в I Думе товарищ министра внутренних дел В.И. Гурко вспоминал: «Стишинский при вступлении на кафедру был встречен криками “в отставку”». Такой же прием был устроен и мне. Как сейчас, вижу я члена Думы Жилкина, сидевшего в верхних рядах, усиленно кричащего: “В отставку-ку-ку!”, причем при восклицании “ку-ку” он прятался под пюпитр, которыми

были снабжены все места, предназначенные для членов Думы. Засим поднялся общий шум и крик...» [6. С. 563].

В любом парламенте речевая агрессия имеет два постоянных направления: во-первых, объектом понижения политического статуса со стороны народных представителей является исполнительная власть (чаще всего правительство и его члены), во-вторых, агрессия ориентирована на политических оппонентов внутри самого парламента (депутаты, депутатские фракции и группы). Соотношением этих двух направлений во многом определяется весь речевой облик парламента. В I Государственной Думе, в отличие от современных российских парламентах, безусловно доминировала установка на речевой антагонизм правительству. Это подтверждается как сопоставлением количества фактов речевой агрессии в официальных стенограммах Думы 1906 года и Думы современного Четвертого созыва (весенняя сессия 2004 года), так и воспоминаниями современников. С.Ю. Витте отмечал, что «между правительством и Думою явились такие обостренные отношения, что никаких дел вести в Думе было невозможно» [2. С. 345].

Однако для выявления особенностей вербальной агрессии в политическом общении необходимо учитывать не только объект речевой атаки, но и интерпретацию его статуса говорящим. Иными словами, необходимо ответить на вопрос: оппонент в речевой агрессии мыслится прежде всего как носитель противоположных политических взглядов или же на первый план выдвигается личная агрессия, возникшая на почве разногласий, в том числе идеологических? В первом случае объект агрессии в речи оратора неотделим от своей политической группы, во втором случае о политических взглядах адресата атаки и его связи с идеологическими группами прямо не говорится, зато оппоненту приписываются те или иные личностные характеристики.

В I Государственной Думе 1906 года подобные факты были сравнительно редкими, так как объект речевой агрессии (например, министр) почти всегда представлялся как чиновник, воплощающий в жизнь идеологию своей политической группы (правительства России). Это доказывается и частым обобщением депутатами выступлений нескольких членов правительства при помощи местоимений *вы* и *они*: «[Герценштейн:] Если бы вы сколько-нибудь внимательно отнеслись к вопросу, вы бы отбросили эту арифметику. Чтобы так разрешить вопрос, как вы это делаете, достаточно иметь познания в четырех правилах арифметики и больше ничего (аплудисменты)» [7. С. 158].

В Государственной Думе 1906 года словесная агрессия была структурированным явлением, которое не возникало спонтанно и не исчезало бесследно. В I Думе речевая агрессия служила особым средством связи высказываний депутатов внутри тематического единства речей (сложного полемического целого) и между различными тематическими единствами. Например, одно из таких сложных полемических целых на

тому исполнения в России смертных приговоров за политические преступления состояло из тринадцати выступлений депутатов. Толчком к возникновению речевой агрессии послужил доклад военного министра, содержащий достаточно резкий отрицательный ответ на запрос Государственной Думы о необходимости приостановления смертных казней. Сразу по окончании выступления докладчик демонстративно покинул Таврический дворец, что привело к усилению депутатского гнева. Чтобы продемонстрировать особую организацию речевой агрессии в полемике, достаточно рассмотреть возникновение ее пиков, то есть тех фрагментов речей, которые выражают наивысшую степень агрессии.

Первое же высказывание после доклада министра содержит отрицательную оценку услышанного. При этом возмущение оратора передается вопросительными синтаксическими конструкциями: “[Кузьмин-Караваев:] В сущности, что мы выслушали? Разве мы выслушали ответ на запрос? Государственная Дума спрашивала военного министра, какие приняты им меры для того, чтобы было приостановлено исполнение смертной казни. А в ответ что мы услышали?.. Он [военный министр] только показал своею деятельностью ...я не смею назвать, какое отношение к Государственной Думе... (долго несмолкающие аплодисменты)” [5. Т. 2. С. 902–903]. В последней фразе используется прием умолчания, который был очень распространен в I Думе, однако для оценки правительства он использовался чаще всего на стадии зарождения коллективной речевой агрессии в полемике.

Несколько минут спустя другой депутат произнес с трибуны еще более агрессивную речь. «[Свящ. Афанасьев:] Теперь я спрашиваю, почему *этот* молитвенник земли русской, Дурново [курсив наш. – С.Г.], почему он просмотрел тот краеугольный камень конституции, о котором говорил нам епископ Ропп, – о заповеди “не убий”?» [5. Т. 2. С. 906]. Здесь понижение политического статуса объекта усиливается маркером “чуждости” [3. С. 121] (местоимение *этот*), произнесением фамилии министра и приклеиванием к нему ярлыка. Затем в этом же выступлении объект агрессии постепенно изменяется: речь идет уже не о конкретном министре, а о “господах министрах”: “[Свящ. Афанасьев:] Бог когда-то заклеил печатью проклятия первого братоубийцу Каина; скоро разразится гнев Божий и над этими насильниками правды и свободы (бурные аплодисменты)” [5. Т. 2. С. 907]. Ораторы I Думы испытывали большое влияние судебной риторики и духовного красноречия, поэтому активно использовали библейские образы в парламентской речи. Особенно часто библейские мотивы выполняли функцию своеобразной угрозы-устрашения, что придавало выступлению, а подчас и всей полемике возвышенность и трагичность.

На следующем этапе выступления депутаты, отталкиваясь от предыдущих речей, развивают обвинительную линию речевой агрессии.

сии. Обвинения военного министерства и всего правительства в экономических и политических играх неизбежно приводят к более тяжелым обвинениям и угрозам: “[Аладьин:] Когда русский народ принимается серьезно биться за свое существование, тогда у русского солдата появляются мыло и сахар (аплодисменты)... Как называются эти факты? По-моему, они называются игрою и игрою открытой в государственную измену... Я... буду говорить с военным министром о законности и на языке законности только тогда, когда военное министерство займет подобающее ему место, то есть скамью подсудимых (громкие аплодисменты)” [5. Т. 2. С. 909]. Эмоциональную кульминацию полемического целого составляют две следующие подряд депутатские речи. В одной из них максимальная степень речевой агрессии достигается использованием ярлыка-обвинения: “[Недоносков:] Я думаю, что все, что мы слышали, дает нам право сказать: – убийцы! дайте же нам работать. Перестаньте лить кровь, уйдите в отставку! (аплодисменты)” [5. Т. 2. С. 912]; в другой – эффективным приемом эвфемизированной угрозы физической расправы: «[Бабенко:] Я должен сказать: пусть уйдут наши министры... пусть уйдут, иначе наших министров может постигнуть та же участь, которая постигла офицеров на “Князе Потемкине Таврическом”» [5. Т. 2 С. 912].

В I Думе угрозы физической расправы как способ понижения социального и политического статуса оппонентов строились исключительно на эвфемизмах, которые зачастую представляли собой отсылку к реальным событиям революции 1905 года. Такая угроза почти всегда соседствовала с другой формой угрозы – предупреждением возможности нового массового кровопролития: “[Герценштейн:] Чего же вы теперь ожидаете? Вы хотите, чтобы зарево охватило целый ряд губерний?! Мало вам разве опыта майских иллюминаций прошлого года, когда в Саратовской губернии чуть ли не в один день погибло 150 усадеб?!” [7. Т. 1. С. 157]. В большинстве случаев после ряда подобных угроз в адрес правительства депутатские прения по одному вопросу повестки дня заканчивались формулированием перехода к очередным делам, что и произошло в рассматриваемом нами примере. Однако накал страстей со сменой темы не только не исчезал, но, наоборот, нарастал в полемике по другим вопросам.

Словесная агрессия “перводумцев” носила двусторонний характер: не только острая критика оппонентов, но и заражение аудитории своими эмоциями. Следствием этого стало лавинообразное усиление в полемике пафоса гражданского негодования и возмущения действиями правительства. Современными же депутатами успешно реализуется лишь первая составляющая речевой агрессии, то есть словесная атака противника.

Таким образом, речевая агрессия в I Государственной Думе была коллективной и представляла собой не отдельные вспышки брани, а ди-

намичную систему, развивавшуюся по принципу нарастания снежного кома. Увеличение степени агрессии происходило не только во время отдельных прений, но и в масштабе всей полемики в Думе. Член правительства В.И. Гурко, часто бывавший объектом депутатского гнева, писал об этом: “Став с места в оппозицию к правительству, Дума с первого месяца своего существования все же соблюдала некоторое внешнее приличие и корректность в отношении к правительству. После декларации правительства она усилила свою атаку против власти, а после прений по аграрному вопросу окончательно перешла к революционному образу действий” [6. С. 563]. Множество взаимосвязей между различными проявлениями речевой агрессии – одно из доказательств того, что в целом полемику в Думе можно рассматривать как коллективно творимый текст.

Подобная организация речевой агрессии в думской полемике, основанная на коллективном нагнетании пафоса гражданского негодования и успешном провоцировании аудитории на усиление эмоциональности, действительно приближает речевую агрессию в I Государственной Думе к единодушному, “народному” гневу. Народность этого гнева проявлялась еще и в тесной связи произносившихся в думе речей с митингами, для которых характерна высокая степень вербальной агрессивности по отношению к образу врага.

Литература

1. Глинка Я.В. Одиннадцать лет в Государственной Думе. 1906–1917: Дневники и воспоминания. М., 2001.
2. Витте С.Ю. Воспоминания: В 3 т. Таллин – М., 1994.
3. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. М., 2004.
4. Китайгородская М.В., Розанова Н.Н. Современная политическая коммуникация // Современный русский язык: Социальная и функциональная дифференциация. М., 2003.
5. Государственная Дума. Созыв 1-й. Стенографические отчеты. В 2 т. СПб., 1906.
6. Гурко В.И. Черты и силуэты прошлого: Правительство и общественность в царствование Николая II в изображении современника. М., 2000.
7. Государственная Дума. 1906–1917. Стенографические отчеты. М., 1995.



Названия водных объектов в говорах воронежского прихопёрья

© Е. И. СЪЯНОВА

Река Хопёр – основная водная артерия пяти районов востока Воронежской области – Борисоглебского, Грибановского, Новохопёрского, Поворинского, Терновского. Протяженность реки в пределах области – 120 км, из них более 50 – по Хоперскому заповеднику [1. С. 97]. Местные жители называют Хопёр *великой* и *знатной* рекой: “Карачян – виликая рика фсё-таки. Он нимнагаводин ва время лета, но он мнагаводин, кагда начинайтца разлиф. Он фпадаит ф харошую реку, знатную, – Хапёр. Хапёр впаслецтвии фпадаит в Дон, Савала сюда фпадаит и многийи реки, ручийки” (В.А. Мешков, 67 лет, среднее образование; Средний Карачан Грибановского р-на).

Основа этнического состава населения региона – русские из рязанских, тульских, орловских земель. Этнический состав переселенцев из этих среднеприокских и верхнедонских районов был сложным, будучи результатом взаимодействий раннего славянского населения, впитавшего древний угро-финский субстрат, с более поздними русскими мигрантами, среди которых было немало выходцев из московских и “замосковных” уездов [2. С. 34]. С XVIII века, как отмечает Л.Н. Чижикова, на территории Воронежской губернии стали проживать украинцы. Смешение двух родственных языков отразилось и на микрогидронимии этих мест. Поэтому, на наш взгляд, исследование и историко-этимологическая расшифровка ономастического поля данного края требует изучения не только русских, но и украинских говоров.

С именованием водных объектов, как правило, связывают различные легенды. Так, в селе Пески Поворинского района существует поверье, объясняющее название реки Хопёр: «Наша речка называйтца Хопёр. Ф старину жыл дедушка. Йиво звали Хопёр, и он собрал семь речик ваидина, ну, и назвал. Ну, ат этава и пашло название Хопёр» (В.А. Белякова, 1950 г.р., образование среднеспециальное).

По всей территории Воронежской области распространены легенды о «золотой карете». Например, в селе Верхний Карачан Грибановского района такая легенда связана с озером *Рубёжное*: «Прайиждал какой-та хан. Я думаю, ни хан, можыт быть, вадитиль какой-та их. И чирис эта озира, чирис Рубёжнае прайиждал. И па сей день ани ищ думают фсё, што можа балота какая была. Да... Ну, и вот, гаварят, што утанула там, гаварят, залатая карета, гаварят, в этом озире. Эта вот Рубёжнае озира» (А.П. Двойченко, 51 год, среднетехническое образование). Э.М. Мурзаев приводил *рубеж* в значении «межа, край, граница. *К рубить*» [3. С. 484].

Чаще всего народные названия водоемов естественного происхождения содержат в себе информацию об окружающем мире, особенно-стях самого гидрообъекта: «Достоверным может считаться лишь то, что возможно не только с точки зрения языка, но и допустимо с точки зрения географии и истории» [4. С. 65]. Например, ошибочно связывать название реки *Белки* в селе Пески Поворинского района с белым цветом меловых берегов [5. С.48], так как при анализе геофизических особенностей края не отмечены меловые почвы. В этом районе, расположенном на севере области, «почвы – чернозёмы выщелоченные и типичные на севере...» [6. С. 128]. Происхождение данного гидронима, на наш взгляд, целесообразно связывать с древнерусским термином *белый, белое* (место) – «свободный (-ое), незанятый (-ое)» (при помощи суффикса -к): «Белый <...> 5. Освобожденный от феодальных повинностей, нетяглый... белое место – земля, хозяйство, не облагаемые феодальными поборами» [7. Вып. 1].

Заметим, что после татарского владычества эти места долгое время оставались свободными и были заселены лишь в начале XVIII века. «Сило Пески находитца в миждуречьи, как гаваритца, рики: Казинки, Белки и Хапра, вот. Цынтральная чясть этава сила Песак называйтца, раньшы называлась Старажыльё. Ано, значит, была, первыми пасиленцами были патомки мелких служылых людей – аднадворцы. Ани пасилились на левам биригу Хапра и абразавали цынтральную чясть. В дальнейшэм кристьяни Тамбофскай и Ризанскай области пасилились в западнай этай цынтральной чясти, окала рики Белки, и эта чясть Песак называлась Белкай. Восточная чясти цынтральной, этай чясти, значит, приехали с Маскофскай области и начили, пасилились край рики Казинки. И эта чясть называйтца Маскофскай. Сило Пески тянитца вдоль рики Хопёр, вот» (Ю.А. Беляков, 1950 г.р., образование высшее).

Как видим, место у реки, где селились однодворцы, также называлось *Белка*. Приведем для сравнения: “*Беловодье* – никем не заселенная, вольная земля (Западная Сибирь)” [3. С. 79]. Происхождение названия реки *Белой* (левый приток Кубани) Е.М. Поспелов считает возможным соотнести с социальным значением – “незанятость приречных земель” [8. С. 59]. Э.М. Мурзаев отмечал народный географический термин *белая вода* – «вода во время ее цветения, когда ветер и волны перемешивают верхние слои, разбивают “цвет” и вода становится мутноватой; мутная весенняя вода, главным образом, на р. Великой; белая вода, вспенившаяся после продолжительной бури и оставшаяся белой, как молоко, до замерзания (Псковская обл.)». Ученый не исключал соотнесения лексемы *белая* в данном случае со значениями “хорошая”, “пресная”, “чистая” [Там же. С. 78].

В ономастическом пространстве Воронежского Прихопёрья широко представлены названия, возникшие на базе природных условий местности:

песчаная и глинистая: *Золотой* (пляж). На берегу блестящий, чистый песок; *Золотой ручей* – “ключ, родник, не замерзающий зимой” с пометой *архангельское* [9. Вып. 11]; *Зола* – о сухой земле с пометой *Нижнедевицкий район* Воронежской области [Там же]. Э.М. Мурзаев отмечал “*Золка* – белая или белевая земля, подзолистая почва, светло-серая, легкая и мягкая почва (Среднее Поволжье)” [3. С. 225–226]; *Песочное* (озеро) местные жители так описывают: “У этава озера пищане дно. Находитца ано возли Калитнова, окала вышки. Писочнае озера, бирига у этава озера, пищане дно, твердае, пабитае” (А.Ю. Беляков, 1975, образование высшее); *Песчанка* – это речка в Борисоглебском районе. У Э.М. Мурзаева находим *Песчанка* – “небольшая речка, текущая в песках, на песчаных косах” [3. С. 435], “небольшая мелеющая от наносного песка речка” [9. Вып. 26]. В Грибановском районе услышали название *Шоколадный пруд*: “Название Шыкаладнава, значит, связана с темной вязкой глиной иво биригоф” (Е.С. Седова, 1930 г.р., образование – 7 классов).

По вязкой, топкой почве берегов названа речка *Богана* в Борисоглебском районе. Э.М. Мурзаев приводил следующие значения: “*Багна*, *багно* – болото, топь, низкое влажное место, грязь” [3. С. 62]; в украинско-русском словаре “*багно́* 1) топь; (реже) болото; 2) грязь” [10. С. 24]. В свою очередь, В.А. Никонов указывал на высокую употребляемость *багно* в качестве топоосновы на славянской территории: «*Багно* – многочисленные названия населенных мест (в этой форме или производные от этой основы): на Украине (р. Багна в басс. Тикича), особенно в ее зап. областях, в Польше, Румынии (р. Багница), Чехословакии; значение “болото” (слав.)» [11. С. 38].

Небольшое озерцо – *Мокрое*. В Грибановском районе вокруг него мокро и сыро. Местность заболочена. Общее значение – “сырое,

мокрое, низменное место; болотце”. Э.М. Мурзаев приводил две близкие лексемы *мокредь*, *мокрадь* в значении “низина, покос, грязь, сырость” [3. С. 373].

Склизкий пруд, также в Грибановском районе: “У нас вот здесь, ни очинь далеко ат-дома, есть прут. Называйитца он Склиский. Склиский называйитца ат таво, што там очинь мноуа ила, мноуа пиявак. Ну, бывает, там, канешна, и рыба, ну, ловитца там ана ни очинь так харашо” (Л.А. Гущина, 55 лет, среднетехническое образование). В Поворинском районе о *Тинистом озере* говорят: “Тинистый, патаму шта там вады на четверть, а тины мноуа” (Н.И. Агапова, 1942 г.р., образование среднее). «*Тина* – зеленые водоросли, развивающиеся в спокойной застойной воде, но в прошлом – болото, грязь, тинистое место. Ср. чеш. *tina* – “болото”; болг. *тиня* – “грязь”, “тина”. Родственно рус. *тимение* – “болото”» [3. С. 552]. “*Тина* – болото, тинистое место; грязь, тина” [12. Т. III. Ч. 2 С. 959]. Там же в Грибановском районе отмечены небольшие болотца *Тиннэ*, *Тинное*: “Тиннае. А Тиннае пачиму называлась? На дне тина” (И.В. Жабкин, 70 лет, образование среднее).

В Поворинском районе встречаем озеро *Коблы*, название которого указывает на особенности рельефа: “Есть ище озера Каблы. Суциствуют два мнения на вазникнавание наминавания: первае из них – эта спилинные вётла примерна на высате двух метраф, порасль каторых используйта для плитения карзин; и фтарое – каблами называют кочки в озери, на каторых растут ольхи” (А.Ю. Беляков, 1975 г.р., образование высшее). Э.М. Мурзаев писал, что *Коблы* – это “высокие куртины с ольхами на заболоченных поймах (Украина, Воронежская обл. и другие центрально-черноземные обл.)”. Далее ученый ссылался на Н.А. Северцова, который определил *коблы* как “вывороченные с корнем ольхи; вследствие рыхлой болотной почвы, на которой растет это дерево, оно полой водой вырывается с корнем и образует небольшой остров-кобел”. В русских диалектах *кобел* означает “высохшее дерево на берегу”, “пень”, “чурбан”, *кобло* – “яма”, *коблех* – “пень”, “карша”, “свая” [3. С. 280–281].

Под Камённый – место на реке Карачан в Грибановском районе: “Да, купались мы на речки. Пат Каменник был у нас туда к Кирсанафки. Мы иво называли Пат Каменник, вот. Там очинь был пласт такой, камню была, наверна, многа, вот. Ну, пайдемти купатца Пат Каменник” (Р.Ф. Ханина, 68 лет, образование среднетехническое). Э.М. Мурзаев слово *каменник* в значении “наиболее высокие вершины возвышенностей” возводил к древнерусскому *камень* – “гора” [3. С. 249]. В Словаре русских народных говоров лексема *каменник* имеет значения – “бугристое дно реки с ямами, засыпанное щебнем”; “сухое русло горного потока” [9. Вып. 13].

Котловиньочка – место на реке Карачан в Грибановском районе. “Котловина – понижение, впадина на земной поверхности” [3. С. 295].

Кру́ча – место на озере. “Круча – эт бирига крутые. Там купались, там и лаshadeй купали” (И.В. Жабкин, 70 лет, образование среднее); “Круча – круча, обрыв; откос; крутизна (крутой спуск)” [10. С.332]. *Ямное озеро* (Борисоглебский р-н). Находится оно в яме, имеющей высокие берега. «Яма – отрицательная форма микрорельефа, в частности, в районах распространения карста. Термин употребляется и в значениях: “ров”, “впадина”» [3. С. 648]. В Поворенском районе есть озеро *Кру́тенькое*: “Следующее озера Крутинькае. Названа патаму, шта находитца на вазвышэннасти, йидинствиннае озера, каторае находитца на замище, имейит высокие абрывистые бирага. Вот паэтаму и называют Крутинькае” (А.А. Свиридов, 1957 г.р., образование среднее). В Грибановском районе есть *Крутой пруд*, который назван по своим крутым берегам.

Микрогидронимы характеризуют особенности самого объекта, что отражается в названии. Это чаще всего названия-метафоры: *Дуга́*, или *Дужка* – озеро в Грибановском районе: “Ф квартали сто сорок чтиввертам, сто сорок пятам есть места, называемае Дууа. Ана диствительна вот в виде дууи. Эта вот Дууа. Но эта места рыбае, и тама рыбу нашы рыбаки лавят щяс. Да ишо чо тибе рэскажут?” (К.Т. Калинин, 1925 г.р., образование среднеспециальное); “Например, есть такое озера Дууа. Имейит форму лышадинай дууи. Раньшы имела два захода с Хапра, в настоящие время адин зарос” (А.Ю. Беляков, 1975 г.р., образование высшее); “Озера Душка название свае палучила па формы лашадинай дууи. Начинайтца, начяла Дууи и канчыйитца в сефирнай старане, воу-нутая к юуу, напаминайт настоящую дууу” (А.А. Свиридов, 1957 г.р., образование среднее); “Дуга – старица, имеющая форму дуги или серпа в бас. Хопра” [3. С. 193]; жители Грибановского района, где встречается болото *Дуга* говорят, что “Дууа – эт балота. Ано в види дууи” (И.В. Жабкин, 70 лет, образование среднее).

Клинок – участок реки Танцырейки в Борисоглебском районе: “Изуип здесь рики” (Д.С. Попов, 77 лет, образование 5 классов). У Даля находим: “*Клин, клинок*... Острый угол, и всякая вещь этого же вида, треугольником” [13. Т. III]. В Борисоглебском районе есть озеро *Косты́ли*. В Поворенском районе – *Кругленькое озеро*: “Озера Круу-линькае нибальшова размера, па форме напаминайт блютцэ чяйнае” (А.А. Свиридов, 1957 г.р., образование среднее). *Кру́глое озеро* встречается часто в Воронежской области: “А патом там Круглае озера есть. Круу́лый, патаму шта он круу́лый” (Н.И. Агапова, 1942 г.р., образование среднее). В Грибановском районе есть и *Рогáтый пруд*. Местные жители объясняют название тем, что объект напоминает голову быка с рогами; озеро с названием *Рогачи́* в Грибановском районе можно объяснить также его формой, а *рогачи*, по Далю, “*кур. вор.*, рогач, емки, ухват” [13. Т. IV]. Там же в Грибановском районе находится озеро *Сапожо́к*: “На павароти там ано” (В.И. Слизов, 1932 г.р., образование 7 классов). В Борисоглебском районе можно встретить название *Углы́* –

часть реки – изгиб. У Э.М. Мурзаева находим: “Угол – клин чего-то; край, конец...” [3. С. 572]. *Угóльный* – место на реке Баклуша. Остров *Чаганóк* в Терновском районе соотносимо с *чаганак*, *чиганак* (тюрк.) – “залив, гавань, изгиб реки, излучина”. В основе семантического значения – что-то извилистое, изгибистое, меняющее направление [3. С. 605]. *Чирвякóвэ*, или *Червякóвое* болото: “Чирвяковае – эт как балота. Эт ано в лису. Там ручей; ано извилистае, длиннае-длиннае. Идеш и идеш па нем” (И.В. Жабкин, 70 лет, образование среднее). Очевидно, соотносимо с *черево* в значении “изгиб, излучина реки (северные обл.)”; «”*чрево*” – “живот”, диал. *черево* – “кишки”» [3. С. 611].

При сборе и анализе ономастической лексики, в частности, микрогидронимической, исследователь должен быть знаком с историей края, и, по возможности, иметь точное представление о геофизических особенностях территории. При работе с народными (неофициальными) названиями для лингвиста становится важным непосредственный контакт с местными жителями.

Литература

1. Казьмин С.И. Экологические особенности Прихопёрья // Проблемы изучения и охраны заповедных природных комплексов: Материалы научной конференции, посвященной 60-летию Хопёрского заповедника. Воронеж, 1995.
2. Чижикова Л.Н. Этнокультурная история южнорусского населения // ЭО. 1998. № 5.
3. Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов. М., 1984.
4. Жучкевич В.А. Общая топонимика. Минск, 1980.
5. Толбина Т.В. Микропонимия Воронежской области: особенности номинации. Дис. на соискание уч. ст. к.ф.н. Воронеж, 2003.
6. География России: Энциклопедический словарь. М., 1998.
7. Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975-.
8. Поспелов Е.М. Географические названия мира: Топонимический словарь. М., 1998.
9. Словарь русских народных говоров. Л.-СПб., 1966-.
10. Украинско-русский словарь // Сост. В.С. Ильин, Е.П. Дорошенко и др. Киев, 1976.
11. Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. М., 1966.
12. Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. М., 1989.
13. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1989–1991.

Санкт-Петербург

О НЕКОТОРЫХ РУССКИХ ПРОЗВИЩНЫХ ФАМИЛИЯХ

© С. Г. ЖИЛИН,
кандидат биологических наук

Многие фамилии произошли от канонических имен, например, *Иванов*, *Сидоров*. Другие – от названий профессий или географических объектов: *Столяров*, *Мещерский*. Существует большая группа русских фамилий, образованных от прозвищ. Прозвищные фамилии Б.-О. Унбегаун делит на *личные* и *переносные*, тут же оговариваясь, что их трудно разграничить [1. С. 118]. Например, по Унбегауну, фамилия *Жилин* значится в *переносных* прозвищных фамилиях. Она произведена от *жила*, названия части тела человека (или животного), а вовсе не от глагола *жиль* (как написано в нескольких словарях русских фамилий). Глагол *жиль* появился в начале XIX века, когда фамилия *Жилин* уже существовала.

Количество прозвищных русских фамилий неисчислимо, их этимология в большинстве случаев неизвестна, или туманна. К прозвищным также относятся фамилии, произошедшие от привычных в быту обращений, в том числе к Богу, мимоходных ссылок на Бога, своего рода титуловании: *Богстобоев*, *Богстобой*, *Ейбогин*, *Отецутешев*, *Отченаш*, *Отченашек*, *Отченашенко*, *Отченашич*, *Передбогов*, *Помогайбо*, *Простибоженко*, *Спасибенко*, *Спасибёнок*, *Спасибин*, *Спасибо*, *Хвалибога*, *Эйбоженко*. Это не только русские, но также чешские и украинские фамилии. Некоторые из них весьма древние, например, фамилия *Отецутешев* датирована июлем 1613 года [2. С. 259]. Также и ряд других фамилий, например, *Панибудьласка*, *Сударев*, *Пожалостин*, *Челомбитько* возникли по типу прозвищных. Подобные прозвища, а вслед за ними и фамилии могли получать люди, часто произносящие вслух, обычно скороговоркой, начало молитвы *Отче наш*, или вошедшие почти в поговорку выражения *Помогай Бог*, *Ей Богу*, *Бог с тобой*, *Как перед Богом* (род клятвы), а также употребляющие выражения *спасибо* (хотя это тоже полускрытое обращение к Богу) и *пожалуйста*.

Литература

1. Унбегаун Б.-О. Русские фамилии. М., 1995.
2. Документы печатного приказа (1613–1615). Сост. Акад. С.Б. Веселовским. М., 1994.

Санкт-Петербург

ОТРАЖЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ В НАРОДНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ПЕСНЯХ

© А. В. ПОПОВ

События, о которых повествуют народные исторические песни, отражены в летописях, различных документах, записях очевидцев и т.д. Это позволяет проследить особенности передачи этих событий в фольклоре.

Показать, как реальные факты преломляются в художественном мире исторической песни, можно на примере текста “Щелкан Дюдентевич”. Эта песня создана вскоре после убийства в 1327 году ханского наместника Твери – баскака Чолхана (в летописи его называли Шевкалом, а в песне – Щелканом или Шолханом). Хан – “царь” Азвяк раздает своим родичам покоренные русские города для сбора дани, перечисляются отдаваемые под власть баскаков Вологда, Кострома, Плѣс и другие. Героя песни, Щелкана, в это время нет в Орде, он собирает дань, проявляя себя жестоким и корыстолюбивым сборщиком, которому даже сам хан не указ. По возвращении Щелкан просит отдать ему “Тверь старую, Тверь богатую”. Получает же он ее, только выполнив страшное условие – заколов собственного сына и выпив чашу его крови, после чего отправляется в Тверь, где совершает всяческие бесчинства.

Интересно, что образ ордынского наместника создается еще до описания его прибытия в Тверь. Этому уделено больше половины текста. Сначала говорится, как Щелкан собирает дань в земле Литовской:

У которого денег нет,
У того дитя возьмет;
У кого дитя нет,
У того жену возьмет;
У кого жены-то нет,
Того самого головой возьмет [1].

Описание его жестокости достигает кульминации в сцене, где ради получения Твери он убивает сына:

Втапоры млад Щелкан
Сына своего заколол,
Чашу крови нацедил,
Крови горячая,
Выпил чашу той крови горячая.

После этого упоминание о том, как жестоко он правил в Твери, уже мало что прибавляет к образу баскака: говорится, что Щелкан стал

Вдовы-то бесчестити,
Красны девицы позорити,
Надо всеми наругаться,
Над домами насмехаться.

Это описание является логическим переходом ко второй части песни, где повествуется об убийстве Щелкана. Но из текста не следует, что баскак убит за свою жестокость и несправедливость: непосредственной причиной убийства является то, что он не воздал чести принесшим ему подарки “от народа” князьям – “двум удалым Борисовичам”: “Зачва- нился он, загордился”. Заканчивается песня так:

И они с ним раздорили,
Один ухватил за волосы,
А другой за ноги.
Тут смерть ему случилася,
Ни на ком не сыскалося.

Последнюю фразу можно понимать как в прямом смысле (не нашли виноватых), так и в переносном: Щелкан сам виноват в своей гибели.

Песня с очевидностью отступает от исторической действительности. После убийства наместника хан жестоко подавил тверское восстание, опустошил и разорил город. Однако смысл этого отступления становится ясен, если сопоставить текст с летописными известиями о тех же событиях. По летописи, Шевкал захотел обратить жителей Твери в мусульманскую веру. Город пришел в волнение – жители с князем Александром Михайловичем во главе напали на татар и одолели их. Шевкал искал спасения в тереме, но был сожжен в нем заживо. В местной тверской летописи событие описано иначе: Шевкал изгнал князя из терема и неизменно унижал горожан. 15 августа, когда некий дякон вел кобылу на водопой, татары напали на него и отняли лошадь. Дякон стал звать на помощь, началась драка, татары и сам Шевкал были убиты. Уцелели лишь те, кто пас за городом коней, они-то и ускакали в Орду, чтобы доложить о произошедшем хану [2].

Из сопоставления с летописью видно, что песня по-своему трактует события. Из документов в текст песни вошли лишь важнейшие элементы: имена героев, место действия, факт убийства наместника после своих бесчинств в Твери. Однако основной замысел песни в том, чтобы показать, что Щелкан пострадал из-за собственной жестокости, и оправдать тверичей. То есть песня описывает не столько фактическое событие, сколько отношение к нему народа. Именно этой цели подчиняется и вся ее форма. В отличие от былин с развернутым и последова-

тельным описанием событий здесь дан лишь набор эпизодов, между которыми остаются значительные временные разрывы (мы не знаем, сколько времени проходит между собранием у хана, возвращением Щелкана со сбора дани и появлением его в Твери). Однако сам подбор эпизодов, их последовательность и эмоционально-смысловая наполненность подчинены воплощению основного замысла.

Подобное отношение к трактовке событий встречается и в песнях об Иване Грозном. В качестве яркого примера можно взять песню “Грозный царь Иван Васильевич”. В ней выразилось народное отношение к страшному опричному войску, боярам-изменникам и к самому царю, верящему любому навету, легко впадающему в гнев (“Мутно его око помутилось, Его царско сердце разгорелось”) и способному отдать приказ убить своего младшего сына Федора: “А срубите Федору да буйну голову За его поступки неумильнии” [2]. Песня осуждает Ивана Грозного и, наоборот, выражает народную симпатию к царевичу Федору. Однако этим связь сюжета с исторической действительностью исчерпывается: в песенном тексте гнев царя падает не на старшего сына Ивана, а на Федора, которого Грозный отдает палачу Малюте Скуратову (от его реального прототипа взято только имя: “Сидит маленький Малютка вор Шкурлатов сын”).

Так как в песне царевич с помощью Никитушки Романова избегает смерти, некоторые исследователи полагают, что обвинение в убийстве с царя снимается [3].

В результате “не отрублена да Федору да буйна голова, А отрублена Малютке да Шкурлатову За его поступки неумильнии... Царский род на казни не казнится” [4], – фольклорная историческая справедливость торжествует.

Таким образом, отражение действительности в проанализированных песнях сложно назвать исторически достоверным. Из сравнения с документальными свидетельствами видно, что в песню попадают прежде всего имена реально существовавших известных людей и реальные факты, ярко запечатлевшиеся в народном сознании. Остальные же элементы песни подчиняются одной цели – передать отношение народа к историческим личностям и событиям: эпизоды повествования могут домысливаться, исчезать или менять свое значение, действия героев получают песенную, а не реальную мотивировку, их образы создаются также с предельно выраженной симпатией или антипатией. В.П. Аникин называет такое отражение реальности “особенностями песенной публицистики” исторических песен [5].

С этой точки зрения интересны исторические песни XIX века. Во-первых, мы располагаем большим количеством архивных материалов, позволяющих с большой степенью точности и достоверности восстановить все события и детали, описанные в той или иной песне. Во-вторых, искажение действительности в них трудно списать на забвение фактов

далекого прошлого (как это можно сделать в случае песен XIII–XV веков). И в-третьих, в XIX веке записи песен были уже весьма качественны с научной точки зрения, поэтому мы можем довольно точно проследить время возникновения и район распространения каждого текста и варианта. В сочетании три этих фактора дают нам возможность отметить наиболее характерные особенности отражения действительности в исторических песнях этого периода.

Чем шире масштаб события, чем острее реакция на него народа, чем ярче фигура народного героя, тем больше песен будет о нем сложено и тем дольше останутся они в народной памяти. Важнейшим общенациональным событием в XIX веке была, несомненно, Отечественная война 1812 года. Почти как во времена ордынского нашествия появилась опасность полного подчинения России иноземным захватчикам. Люди, возглавившие борьбу против врагов, стали, конечно, героями исторических песен этого периода.

Одним из них был казачий атаман Платов. Ему посвящена одна из самых популярных и распространенных песен XIX века – “Платов в гостях у француза”. В ней рассказывается, как Платов, сбрав усы и бороду и переодевшись купцом, отправляется в Париж в гости к Наполеону. Тот не узнает атамана и приглашает его пить “чай, кофей и сладкую водочку”. Наполеон рассказывает, что был в Москве и знает многих русских, но не знает “вора Платова”, на что все еще не узнавший “купец” говорит, что Платов похож на него, как брат родной. Заканчивается песня тем, что Платов выходит во двор, кричит казакам, чтобы привели его вороного коня и, уезжая, насмехается над французом: “Ты ворона, ты ворона, загуменная карга, не сумела ты ворона ясна сокола пымать! Ясна сокола пымать, сизы перушки щипать!” [6, № 169].

Создатель песни любит Платовым, его отвагой, удалью и молодецким задором. Что же касается исторической основы, то, кроме имен Наполеона и Платова, связи с реальными событиями нет никакой. В песне даже не отражены подлинные – враждебные – отношения между ее героями. Однако скупыми деталями отмечается, что события песни происходят уже после взятия Наполеоном Москвы. Фигура атамана и его казаков была хорошо известна французам (в иностранной печати уделялось много внимания казачьему войску, тактике боя и даже внешности казаков), однако ни разбить отряды Платова, ни захватить в плен атамана не удавалось. Неспособность француза узнать столь известного героя переодетым придает песне сатирический оттенок.

Основная же идея и смысл этой песни заключаются в отображении напряженной и опасной борьбы всего русского народа против захватчиков. Насмешка над врагом, уже изгнанным за пределы родины, не столько прославляет военную победу русских войск, сколько дает чувство морального превосходства над противником, обеспечившее эту

победу. В песне закрепляется неизбежность возмездия за все те беды и горести, которые причинил России “француз”.

Интересно отметить и еще одну особенность текста песни, сохраняющуюся практически во всех записанных вариантах (число которых превышает сотню). Дом, двор и быт французского императора описываются точно так же, как быт зажиточного крестьянина: Наполеон ведет Платова “через сени, во палаты”, сажает его за “дубовый стол” и наливает рюмку водки. Этот прием, встречающийся во многих песнях XIX века, обеспечивает не только близость и понятность песни любому простому человеку, но также ее популярность и долгое бытование.

Дальнейшие исторические события XIX века, и в том числе многочисленные военные кампании, в которых участвовали русские войска, были уже менее масштабны. Такого вовлечения всего народа, конечно, уже не было, однако в текстах песен, описывающих эти события, остаются те же закономерности. Например, как ни скупы на подробности и развернутые сюжетные описания песни о героической обороне Севастополя во время Крымской войны, отбор исторических деталей подчиняется все той же цели – не столько описать событие, сколько показать отношение к нему народа, дать оценку действий участников. Там, где необходимо подчеркнуть героизм солдат, оборонявших город, нет конкретных описаний битвы, даже образу врага не уделяется много внимания (лишь упоминается, что это “турок”, “француз” или “англичанин”). Зато последовательно из варианта в вариант переходят детали, подчеркивающие напряженность боевых столкновений и тяготы положения осажденных:

Пули, ядра нас осыпали,
Нам картечь была нипочем <...>
Мы конину, братцы, лошадину,
Мы варили ее и пякли,
Ах межда соли, соли мы солили,
С патрон мелкам, мелкам порохом,
А сено у трубычку, братцы, курили,
Распрощались да мы с табаком [6, №№ 362, 364].

В этих текстах, в противоположность песне о Платове, даны только несколько реальных деталей, однако служат они все той же цели – созданию эмоционального напряжения, усилению образа героических защитников города и подчеркиванию важности этой осады в народном сознании.

Из рассмотренных примеров видно, что способ передачи исторических событий имеет мало общего с сохранением правдоподобия. Реальное событие или лицо дают основу песни, однако народное отношение к этой основе явно подчиняет себе передачу хроникальных сведений. Важность события для развития государства, положительная или отри-

цательная оценка исторического деятеля, указание на пример для подражания, то есть все то, что можно назвать художественным осмыслением истории – вот основная задача исторической песни.

Литература

1. *Кириша Данилов*. Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. М., 1977. С. 24–27.
2. *Воронин Н.Н.* Песни о Щелкане и Тверское восстание 1327 г. // Исторический журнал. М., 1944. № 9. С. 75–82.
3. *Соколов Ю.М.* Русский фольклор. М., 1947. С. 267–268.
4. Исторические песни // Русский фольклор. Хрестоматия. Сост.: Т.В. Зуева, Б.К. Кирдан. М., 1998. С. 265–271.
5. *Аникин В.П.* Русское устное народное творчество. М., 2004. С. 373.
6. Исторические песни XIX в. Л., 1973.



“Жить – не тужить”

О пословицах и поговорках в речи оптинских старцев

© В. В. КАШИРИНА,
кандидат филологических наук

К оптинским старцам за советами обращались многие миряне и монашествующие. Наставления монахов, облеченные в форму пословиц и поговорок, надолго оставались в памяти паломников и служили для них жизненным ориентиром.

Особенными знатоками и любителями народной речи, различных присказок и пословиц были преподобные Лев и Амвросий. Своеобразная духовная нить связывала речевую традицию оптинских старцев. Вот как на один и тот же вопрос отвечали преп. Лев, Амвросий и Иосиф. Старца Льва часто спрашивали: “Батюшка! Как Вы захватили такие духовные дарования, какие мы в Вас видим?” – Он отвечал: “Живи попроще, – Бог и тебя не оставит” [1]. Также и о. Амвросий на вопрос: “Как жить, чтобы спастись?” – любил отвечать: “Нужно жить нелицемерно и вести себя примерно, тогда дело наше будет верно, а иначе будет скверно” или “Жить – не тужить, никого не осуждать, никому не

досаждать, и всем мое почтение” [2]. А о. Иосиф, келейник о. Амвросия, принявший после него бремя старческого служения, в письмах любил повторять: “Живи не как хочется, а как Бог велит”; “Жить нужно так: никого не осуждать, не укорять, не злиться, не гордиться, считать себя в душе хуже всех на свете” [3].

Старцы общались с людьми разных сословий, умели чутко вслушиваться в речевую культуру, отбирали и использовали в своей речи самые яркие и меткие образы. Шутливые присказки, пословицы о. Льва всегда располагали и открывали перед ним сердца людей. Приведем несколько характерных для него выражений: “Исповедовать на живую ниточку” (т.е. быстро); “Душу спасти – не лапоть сплести”; “У кого голосок да волосок, у того лишний бесок”; “За что купил, за то и продавай”; “Старого учить, что мертвого лечить” и др. [1]. По воспоминаниям современников, слово старца “... одного утешало в скорби, другого возбуждало от греховного оцепенения, одушевляло безнадежного, разрешало от уз самого отчаяния, заставляло повиноваться и веровать неверующего; кратко – могло человека плотского обратить на путь духовной жизни, конечно, искренно ищущего сего” [1. С. 79–80].

Однако большинство пословиц и поговорок принадлежало преп. Амвросию. Старец любил повторять их на общих благословениях. Обладая живым характером, он умело использовал искрометность и яркую образность пословиц.

В пословицах и поговорках содержались ответы на вопросы духовной жизни: “Отчего человек бывает плох?” – “От того, что забывает, что над ним Бог”, говорилось о христианских добродетелях – о терпении и смирении: “Дом души – терпение, пища души – смирение. Если пищи в доме нет, жилец лезет вон”; “Умудрайся и смирайся. Других не осуждай”; “Кто уступает, тот больше приобретает”; “Смирайся, и все дела твои пойдут”; “Кто мнит о себе, что имеет что, тот потеряет”; “Если очень зацепят тебя, скажи: не ситцевая, не полиняешь”. О благоразумном молчании: “Лучше предвидеть и молчать, чем говорить и потом раскаиваться”; “Ты молчи пред всеми, и тебя будут все любить”. О терпеливом несении скорбей: “В скорбях помолишься Богу, и отойдут, а болезнь и палкой не отгонишь”. О верности своему слову: “Неисполненное обещание все равно, что хорошее дерево без плода”. Обличались пороки тщеславия (“Не хвались, горох, что ты лучше бобов: размокнешь – сам лопнешь”) и злословия (“Если кого хочешь уколоть словом, то возьми булавку в рот и бегай за мухой”).

Некоторые пословицы старец считал необходимым пояснить своим слушателям, чтобы глубже раскрыть их смысл и значение в соответствии с христианским учением: «“Гордых сам Бог исцеляет” – это значит, что внутренние скорби (которыми врачует гордость) посылаются от Бога, а от людей гордый не понесет. А смиренный от людей все несет и все будет говорить: “достоин сего”».

Многие пословицы соотносятся с текстами Священного Писания: “Иди мытаревым путем и спасешься”; “Не судите, да не судимы будете”; “Надо вниз смотреть. Ты вспомни: земля еси, и в землю пойдешь”; “Благословляющие уста не имут досаждения”; “Томлю томящего мя. Истома хуже смерти”; “Царствие Божие не в словах, а в силе: нужно меньше толковать, больше молчать, никого не осуждать, и всем мое почтение”; “Иди, куда поведут; смотри, что покажут, и все говори: да будет воля Твоя!”.

Одной начальнице монастыря на ее слова, что народ, поступающий в обитель, – разный, старец ответил: “Мрамор и металл – все пойдет”. Потом, помолчав, продолжал: “Век медный, рог железный, кому рога не сотрет. В Священном Писании сказано: Рог грешных сломя, и вознесется рог праведного (Пс. 74, 11). У грешных два рога, а у праведного один – смирение”. (Два рога грешных здесь обозначают, видимо, две страсти – гордость и тщеславие.)

Часть пословиц, имеющая параллели с русскими народными пословицами и поговорками, творчески переработана старцем, причем акценты сделаны на других значениях: “Благое говорить – серебро рассыпать, а благоразумное молчание – золото” (ср.: “Слово – серебро, а молчание – золото”); “Ум хорошо, два лучше, а три – хоть брось”, т.е. советы многих людей не принесут пользы (ср.: “Ум хорошо, а два лучше”); “Всякий сам кузнец своей судьбы”, т.е. каждый человек сам причина своих скорбей (ср.: “Каждый сам кузнец своего счастья”).

Некоторые пословицы обращены преимущественно к монашествующим: “Чтобы жить в монастыре, надо терпения не воз, а целый обоз”; “Чтобы быть монахиней, надо быть либо железной, либо золотой: железной – значит иметь большое терпение, а золотой – большое смирение”; “Не должно выбирать сестру по духу, а то будет по плоти”, т.е. не следует слишком привязываться к кому-либо. Одной монахине, которая раньше пользовалась почетом, а позже впала в немилость, старец ответил: “Кто нас корит, тот нам дарит, а кто хвалит, тот у нас крадет”, т.е. следует смиренно переносить превратности судьбы.

Однако большинство пословиц содержало наставления, обращенные ко всем слушателям. Например, о том, что поучать легче, чем самому что-либо делать: “Теория – это придворная дама, а практика как медведь в лесу”; о необходимости понуждения ко всякому благому делу: “Нужно себя понуждать гряды копать и на все”; о христианской любви: “Трудящемуся Бог посылает милость, а любящему – утешение”, о жизни как подготовке к вечности: “Как поживешь, так и умрешь”, о сложности борьбы с грехом: “Трехи, как грецкие орехи, – скорлупу расколешь, а зерно выковырять трудно”.

На исповеди старец учил: “Свои грехи говори и себя больше вини, а не людей”; “Чужие дела не передавай”.

Любя простоту, т.е. искренность, отсутствие двуличия и лицемерия, он говорил: “Где просто, там ангелов со сто, а где мудрено, там ни од-

ного”; “Смотри на всех просто”; “Будь проста, и все пройдет”; “Жить просто – значит не осуждать, не заирать никого”.

На слова одной дамы, что трудно заниматься с молодежью, ответил ей таким образом: “Не беда, что во ржи лебеда, а вот беды, когда в поле ни ржи, ни лебеды”. И прибавил: “Сеешь рожь – растет лебеда, сеешь лебеду – растет рожь. В терпении вашем стяжите души ваши [Лк. 21, 19]. А ты терпи от всех, все терпи, и от детей терпи”.

Старец Амвросий любил рифмовать свои поучения. Например, обращаясь к Юлии, говаривал: “Сама не юли и другим не вели” [2].

Пословицы о. Амвросия часто повторял его келейник о. Иосиф, который в письмах приводил слова своего наставника, связывая их в целое стихотворение:

Скука – унынию внука, а лени – дочь,
Чтоб отогнать ее прочь,
В деле потрудись, в молитве не ленись:
Скука пройдет, и усердие придет.
А если к сему терпения и смирения прибавишь,
Тогда от всех бед и зол себя избавишь [3].

Яркие, искрометные пословицы являлись орудием духовного назида-ния. В них говорилось о цели христианской жизни, о добродетелях и пороках. Они обладали большей убедительностью, чем обширные поучения. Пословицы и поговорки оптинских старцев всегда были вписаны в духовный контекст, по форме являясь яркими образцами народной речи, они играли заметную роль в духовной традиции Оптиной Пустыни.

Литература

1. Жизнеописание оптинского старца иеромонаха Леониды (в схиме Льва) / <Сост. Агапит (Беловидов), архимандрит >. Изд. Введенской Оптиной Пустыни, 1994.
2. Житие преподобного Амвросия, старца Оптинского / Сост. Агапит (Беловидов), архимандрит. Изд. Свято-Введенской Оптиной Пустыни, 1999.
3. Собрание писем оптинского старца Иосифа / Сост. Каширина В.В. Свято-Введенская Оптина Пустынь, 2005.



Откуда прилетела газетная утка?

© Г. И. ТИРАСПОЛЬСКИЙ,
доктор филологических наук

Выражение *газетная утка* “ложный (сенсационный) слух” – поучительный пример того, как рождаются и крепнут этимологические мифы. Возникло это выражение не ранее XVI века, когда в Европе появились первые печатные газеты. Вместе с печатной газетой как первым средством массовой информации стали шириться и массовые слухи, на которые, увы, падали многие и ныне. Новое явление – лживая газетная статья – со временем получило название *газетная утка*. Однако в каком языке возникло это выражение, какова его смысловая мотивировка (так называемая внутренняя форма) и как оно попало в русскую речь – до сих пор неясно.

В одном из недавно изданных словарей читаем: «Бельгийский юморист Корнелиссен, решив поиздеваться над легковверной публикой, напечатал [на французском языке] в журнале заметку о прожорливости уток: “Один ученый, купив 20 уток, тотчас приказал одну из них разрубить в мелкие кусочки, которыми накормил остальных птиц. Несколько минут спустя он поступил точно так же с другой уткой, потом с третьей и так далее, пока осталась одна, которая пожрала таким образом 19 своих подруг”. Несколько дней все только и говорили что о прожорливости уток. Лишь спустя некоторое время, когда автор сам раскрыл секрет “научного опыта”, все поняли, что это был розыгрыш. С тех пор всякую ложь в прессе стали называть *уткой*» [1. С. 83]. Изложенная версия, в свою очередь, основана на заметке, опубликованной в газете “Вечерняя Москва” 27 сентября 1945 года [2. С. 120].

Мы не беремся утверждать, что последняя заметка – сама газетная утка, однако исключать такую возможность все же не стоит. Дело осложняется тем, что в широкий оборот несколько раньше была введена еще одна этимологическая версия, согласно которой выражение *газетная утка* появилось в конце XVIII века в Германии, где берегущие свою репутацию издатели газет наиболее сомнительные сообщения помечали буквами *N.T.*, которые являются сокращением латинского выражения *non testatur* “не проверено”. Названные буквы по-немецки читаются *энтэ*, а *Энте* в немецком – “утка”. Так якобы возникло рассмат-

риваемое выражение. Автор цитированной книги при этом отвергает третью версию, порожденную ложным газетным сообщением об особых американских утках, яйца которых будто бы растут на деревьях, как груши, и, упав после созревания в воду, дают жизнь утятам [3. С. 64]. Предположение о праязыковой мотивировке слова *утка* [4. С. 103–105], если даже и будет доказано, относится к мировосприятию древнейшего человека и не проясняет связь этого слова с газетой.

Различны и свидетельства солидных словарей. Так, согласно М. Фасмеру, первоисточником выражения *газетная утка*, так же как и немецкого *Ente* в том же значении, является французское *canard* [5. Т. IV]. В словаре же М.И. Михельсона содержатся сведения, из которых следует, что первоисточником и русского, и французского соответствующего выражения был немецкий язык, где слово *Ente* еще в старину означало “ложь”, ср. *blaue Ente* “голубая утка”, *blaues Wunder* “голубое чудо”. Определение *blau* “голубой, синий”, в свою очередь, как утверждал М.И. Михельсон, связано с образом синего тумана, застилающего глаза и ставшего основой для метафорического переноса этого определения на утку [6]. И то и другое предположения все же не объясняют, почему объектом метафоризации стала именно утка, а не другая птица. Искать во внешнем облике утки, в ее повадках, способах питания и размножения какие-либо приметы, свидетельствующие о лживости, лицемерии и коварстве этой полезной птицы, едва ли справедливо.

Более убедительной представляется фонетическая мотивировка рассматриваемого выражения. Если учесть, что в немецком языке издавна употреблялся латинизм *Legende* с основным значением “легенда, предание (не всегда достоверное)” (ср. прилагательное *legendär* “1 – легендарный, сказочный”; 2 – “невероятный”), можно допустить, что слово *Ente* в значении “лживое газетное сообщение” – результат экспрессивного усечения начального безударного слога в слове *Legende* (→ *Ende*) с последующим оглушением звука [d] (во избежание омонимии со словом *Ende* “конец”). Возникший таким путем фонетический “остаток” случайно совпал с существительным *Ente* “утка”, превратив эту безобидную птицу в отрицательный персонаж, а ее способность летать – в новую мотивировку образа “летающих” слухов, сплетен, лживых сенсаций и проч. Затем французский язык калькировал новое немецкое слово, и уже оттуда оно было заимствовано в речь русской интеллигенции, среди которой французский язык в ту пору был самым употребительным.

Предложенное объяснение находит свою типологическую опору в истории таких слов, как английское *bus* “автобус” (из латинского *omnibus* “всем, для всех” – “конная общественная карета с платными местами для пассажиров и регулярным маршрутом”); русское *изм* “политическая доктрина, названная термином с суффиксом -изм-”; коми-зырянское *вич* “отчество” (из русского *Иванович, Петрович, Степанович* и т.п.).

Закljučая наши рассуждения, подчеркнем, что не единственность этимологических версий – обычное явление, отражающее сложность и противоречивость языка. Важно только, чтобы эти версии питались не сомнительной утятиной, а хлебом надежных фактов.

Литература

1. Толковый словарь крылатых слов и выражений. Автор-составитель *Кирсанова А. М.*, 2004.
2. *Виноградов В.В.* История слов. М., 1999.
3. *Мазуркевич С.А.* Энциклопедия заблуждений. М., 2001.
4. *Маковский М.М.* Утка “обман, ложный слух” // Русская речь. 1996. № 3.
5. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. М., 1987.
6. *Михельсон М.И.* Большой толково-фразеологический словарь. Статья “утка (газетная)”. Электронная версия. 1 CD. М., 2004.

Сыктывкар

Акция, валюта, облигация...

© Н. М. КАРПУХИНА

В России в результате экономических реформ и перехода к рыночной экономике появилось большое количество новых терминов. Основная их часть зафиксирована в словарях рыночной, коммерческой, биржевой ориентации и охватывает до десяти тысяч слов и словосочетаний. Многие из них получили широкое распространение. Но не всем известно, когда на Руси появились первые слова экономического содержания. Лексикографические материалы свидетельствуют о том, что некоторые понятия экономической лексики пришли в Россию вместе с деньгами как средством всеобщего эквивалента при купле-продаже. Позднее появились термины – *акция, валюта, вексель* и др.

Данные исторических и этимологических словарей помогают узнать, с какого времени входит тот или иной термин в русский язык.

Наше внимание привлекли основные однословные термины, которые составляют наиболее важные понятия сферы товарно-денежного обращения. Например, *акция* – 1. “действие”, 2. “ценная бумага”. В первом значении известно со времен Петра I “через голл. *aktie*, нем. *Aktie* или польск. *akcja* из лат. *actio*” [1. Т. I]. Позднее слово *акция* приобрело более широкое значение: “ценная бумага, свидетельствующая о взносе определенного пая в капиталистическое предприятие, дающая вкладчику (акционеру) право участия в прибылях этого предприятия” [2. Т. I]. Появление акций стало поворотным моментом в биржевом деле.

Второе значение слова *акция* – “действие, предпринимаемое для достижения какой-н. цели. *Политическая а. А. помощи пострадавшим от землетрясения. Неблаговидная акция*” [3]. В литературе XVIII и начала XIX веков слово *акция* имело еще одно значение: сражение, столкновение с препятствием. *Где он был? В каких походах? На какой акции?* (Фонвизин)” [4].

Слово *акция* в настоящее время послужило базой для образования составных и профессионально ориентированных наименований, близких к термину (всего более 30), например: *акция горячая, меховая, очаровательная* и т.д.

Для продажи движимого и недвижимого имущества организуются специальные торги-аукционы. Слово *аукцион* “открытая публичная распродажа чьего-л. имущества с молотка, при которой покупателем становится тот, кто предложит более высокую цену” [2. Т. I] – в русском языке известно со второй половины XVIII века, происходит, вероятно, из немецкого языка – *Auktion* или английского *auction*. В этих языках слово восходит к латинскому *auction* – “публичные торги” [1. Т. I]. В современном мире существует множество аукционов [5].

С начала XIX века встречается в русском языке слово *валюта* “единица денежной системы какого-л. государства, обеспечиваемой наличным запасом золота, товарами и пр.” [2. Т. I]. Оно пришло, как и в другие славянские языки, из итальянского: *valuta* – “стоимость”, “монета”, позднее “валюта”. Существуют новообразования от латинского *valeo* в инфинитиве *valere* – “быть сильным, крепким, здоровым” [2. Т. I]. В зависимости от режима использования экономисты выделяют около тридцати видов валют: *конвертируемая, резервная, мягкая, твердая, хромающая* и т.д. С прилагательным *валютный* только в “Современном экономическом словаре” зафиксировано около пятидесяти образований: *валютная биржа, валютная блокада, валютная змея, валютный риск* и т.п. [5].

Разновидностью ценной бумаги является *вексель* – “письменный денежный документ, заключающий обязательство (подписавшего вексель) уплатить (держателю векселя) определенную сумму денег в определенный срок” [2. Т. I]. В русском языке слово *вексель* употребляется с начала XVIII века, заимствовано из немецкого (*Wechsel* – *wechseln* “обмениваться”) [2. Т. I].

Одним из важнейших понятий сферы экономической деятельности является термин *деньги* “особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента. Первоначально роль Д. выполняли различные товары: шкуры зверей, зерно, скот, постепенно эта роль перешла к золоту, серебру. Д. – мера стоимости, средство обращения, сокровище, средство платежа, всемирные Д. Существуют в виде монет, бумажных денег, банковских и казначейских билетов, векселей, специальных средств” [6]. П.Я. Черных указывал на то, что слово несомненно заимствованное, оно корней его найти не удалось. Он также предположил, что в русский язык оно попало из тюркских языков [2. Т. I].

Вместо привычного слова *торговля* все чаще можно услышать – *коммерция* “[фр. *commerce* > лат. *commercium* торговля]. Торговля, торговые операции; предпринимательская деятельность по купле-продаже и обороту товаров” [3]; “деятельность отдельных лиц или фирм в области торговли” [2. Т. I]. Этот термин в русском языке известен с Петровского времени. Заимствован из западноевропейских языков, например из французского, голландского или немецкого, но, может быть, напрямую из латинского. Входит это слово и во многие славянские языки.

Прилагательное *коммерческий* вошло в употребление, вероятно, в конце XVIII века, *коммерсант* – еще позже (1804 г.).

Билет государственного займа или *облигация* в русском языке известны также с Петровских времен. В словари *облигация* попало с самого начала XIX века из французского *obligation*, отсюда немецкое *Obligation*, итальянское *obbligazione*, испанское *obligacion*, но в английском *bond* “облигация”. Первоисточником остается латинское *obligation* “обязательство”, “поручительство”. В русский язык, очевидно, пришло из французского, но сохранило латино-немецкое *ц* [2. Т. I].

Слово *облигация* послужило доминантой для образования ряда составных терминов и профессионально терминированных наименований (эти номинации маркируются в словах кавычками).

Одним из центральных в товарно-денежном отношении является понятие “рынок” – “постоянное место (площадь) розничной торговли различными съестными продуктами и другими товарами в торговых рядах или под открытым небом” [2. Т. II]. Для этого выбирали наиболее удобные, доступные площадки: на перекрестках путей, городских улиц, на речных переправах (отсюда названия – *На обочине*, *Уличный*, *Закрытый*). В русском языке слово *рынок* известно с начала XVIII века, в словарях отмечено с 1731 года. Пришло из немецкого языка при посредстве западославянских языков и украинского: немецкое *Ring* “кольцо”, “круг” [2. Т. II].

С понятием “рынок” связано понятие “товар” – “продукт труда, имеющий стоимость и предназначенный для обмена, продажи” [2. Т. II]. Слово *товар* известно с древнейших времен с разными значениями: “стан”, “обоз” (Повесть временных лет), “имущество” и “деньги” (Русская правда) и только в XIII веке – “товар” (Смоленская грамота. 1229 г.). Слово считается старым заимствованием с Востока [2. Т. II].

Термин *торг* неразрывно связан с понятием “рыночная торговля”. Древнерусское и старославянское *тѣргъ* – *торговля* < праславянская форма *търгъ*; по индоевропейской основе родственны литовское *tuĩgus* – рынок и латышское *tīrgus* – то же «Opitergium, местн. Н. на территории Венеции (буквально “хлебный рынок” или “товарный рынок”), иллир. *tergitio* “negotiator”, абл. *tregë* “рынок» [1. Т. IV].

В современном русском языке *торг* имеет несколько расширенные значения: “1. торговать, -ся. 2. Базар, рынок (устар.). *Купить на торгу*” [8]; “4. *обычно мн. ч. (торгй, -ов). Устар.* Публичная продажа какого-л. имущества, вещей, при которой продаваемая вещь приобретается лицом, предложившим за нее наивысшую цену; аукцион <...> *Спец.* Составительный порядок сдачи казенных подрядов, поставок, при котором подряд или поставку получает тот претендент, который предлагает казне наиболее выгодные условия. *Торги на поставку леса*” [9. Т. IV].

Очень многие экономические термины пришли в русское общество в Петровское время. Прилагательное *экономический* своими корнями

уходит туда же. Слово *экономика* в значении “наука о государственном хозяйстве” отмечено более поздним появлением (с 1861 г.), вероятно, из французского *économie* или немецкого *Ökonomik*, но первоисточником является греческий язык или латинский – *oeconomicus* [2. Т. II]. Современные словари русского языка дают ему несколько определений: “[нем. *Ökonomik* < греч. *oikonomikē* искусство управлять хозяйством].

1. Совокупность производственных отношений, соответствующих какой-н. ступени развития производительных сил общества, господствующий способ производства в обществе. *Э. капитализма. Рыночная э.* 2. Организация, структура и состояние хозяйственной жизни или какой-н. отрасли хозяйства. *Мировая э. Э. промышленности. Подъем экономики.* 3. Научная дисциплина, изучающая какую-н. отрасль производства, хозяйственной деятельности. *Э. управления. Преподавать экономику*” [3].

С именем Петра I связывают и появление первой в России биржи – купеческого собрания в Санкт-Петербурге (май 1703 г.). Начало активной биржевой деятельности в России приходится на эпоху Великих реформ Александра II. Численность торгующих на бирже в 1850 году составляла 300 человек, а к 1885 году оно достигло 1210 [10. С. 164]. На сегодняшний день, как отмечают ведущие ученые-экономисты, фондовый рынок в современной России сложился [10. С. 290].

Слово *биржа* обязано своим рождением посреднической фирме, располагавшейся в бельгийском городе Брюгге и имевшей там дом с гербом, на котором были изображены три кошелька. С конца XV века у этого дома, на площади собирались купцы и совершались сделки. Открытие нового торгового пути в Индию послужило толчком к созданию в 1531 году первой товарной биржи в Антверпене. Позднее биржи стали появляться и в других странах. Как отмечал П.Я. Черных, в русском языке слово *биржа* употреблялось с начала XVIII века в форме *бирж* «площадь, где сходятся торговые люди <...> Из голландского языка <...> *beurs. f., pl. beurzen* (произн. *börz, börzen*) – “кошелек” > “биржа”» [2. Т. I]. Современные словари дают слову *биржа* несколько значений, в том числе и устаревших: “[нидерл. *beurs*, нем. *Börse* < фр. *bourse* кошелек] 1. Учреждение для заключения финансовых и коммерческих сделок с ценными бумагами (фондовая б.), с иностранной валютой (валютная б.), с покупкой и продажей товаров по образцам (товарная б.) <...> **Биржа труда** – посредническое предприятие по найму рабочей силы. 2. У лесозаготовителей: склад лесоматериалов. 3. устар. Уличная стоянка извозчиков” [3].

Рассмотрев только некоторые экономические термины, можно себе представить картину формирования и развития товарно-денежных отношений, а главное для лингвиста – процесс появления новых слов, терминов и их значений.

Литература

1. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986.
 2. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. М., 1993.
 3. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М., 1998.
 4. Локишина С.М. Краткий словарь иностранных слов. М., 1998.
 5. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М., 2000.
 6. Словарь исторических терминов. СПб., 1998.
 7. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. М., 2003.
 8. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992.
 9. Словарь русского языка. В 4 т. М., 1981–1984.
 10. Кещан В.Г. Биржевой рынок. Страницы истории становления в современных условиях. М., 1996.
 11. Рынок. Бизнес. Коммерция. Экономика. Толковый терминологический словарь. М., 1998.
-



Э. П. КАРПЕЕВ. Русская культура и Ломоносов

В каждой национальной культуре есть имена незаменимые, знаковые, составляющие ее славу и гордость.

К числу таких имен в русской национальной культуре безусловно относится имя Михаила Васильевича Ломоносова, “первого российского университета”, по определению А.С. Пушкина, первого русского академика, первого русского ученого-естествоиспытателя, первого создателя научной и нормативной грамматики русского языка, первого русского подлинного просветителя.

Именно этому имени посвящена монография Э.П. Карпеева, знатка и основательного исследователя творчества М.В. Ломоносова.

Монография выпущена к 300-летию М.В. Ломоносова, в 2005 году напечатана по рекомендации Ученого совета Института лингвистических исследований РАН, подготовлена при финансовой поддержке РГНФ и Научной программы СПб. НЦ РАН.

Хотя обозначенная тема сама по себе огромна, действительное содержание книги гораздо шире. В ней феномен М.В. Ломоносова осмысливается не только и не столько в масштабе России, русской культуры в период ее динамичного обновления и развития, сколько разворачивается на широком и параллельном фоне достижений европейской науки и культуры в их развитии от Средневековья к Новому времени.

Масштаб и значимость личности Ломоносова в русской истории заставляют автора обращаться к соответствующим фоновым проблемам очень широко, что вполне естественно. Так, делается убедительная попытка проследить связь между типом культуры и типом цивилизации с учетом того, что культура производна от цивилизации. В этом ракурсе сопоставительно характеризуются восточноевропейская и западноевропейская цивилизации, комментируется роль конфессиональных факторов в их становлении, анализируется типология восприятия догматов веры и личной свободы, веры и научных представлений и т.д. Все это подчинено общей идее – обозначить границы Средневековья в истории русской культуры в сравнении с историей западноевропейской культуры, русского общества – с обществом европейским, соответственно в

обоих случаях – места человека в общественно принятой системе ценностей.

Очень интересны, содержательны, легко и с удовольствием читаются страницы, непосредственно посвященные М.В. Ломоносову, его жизни, личности, образованию, многогранному научному творчеству, роли в утверждении в России общенаучных, университетских, академических традиций.

Книга, хотя и принадлежит перу представителя естественно-технических наук, написана красивым русским литературным языком, на высоком уровне гуманитарной и филологической культуры и потому вполне достойна быть рекомендованной в качестве обязательной книги для чтения старшеклассникам как по истории отечественной, так и европейской культуры и науки в целом.

Своими успехами и достижениями Запад обязан, согласно Э.П. Карпееву, последовательному рационализму, ставшему стержнем и глубинной отличительной чертой исключительно западноевропейской цивилизации, с которой связываются, в частности, органично укоренившиеся там представления о личных свободах человека, о свободе творчества, о материальном благополучии и т.д. Однако восхищение европейским рационализмом, ставшее уже привычным, когда речь заходит о европейской культуре в целом, не всегда оправданно. В самом деле, как рационально можно объяснить, например, крестовые походы? Инквизицию? То, что породило фашизм и сам фашизм? Продолжавшиеся веками колониальные режимы? Ставшие нормой откровенно двойные стандарты при оценке схожих исторических событий с позиций европоцентризма?

Книга Э.П. Карпеева, разумеется, не ставила перед собой цели – дать ответы на такого рода вопросы. Она прекрасна собственными результатами, богатым содержанием, соответствующими ее названию. Только жаль, что издана она тиражом всего 500 экземпляров!

© З.К. Тарланов,
доктор филологических наук
Петрозаводск

“Классическое лингвистическое образование...”

© Н. Л. ГРЕЙДИНА,
доктор филологических наук

В апреле в Пятигорском государственном лингвистическом университете проходила Международная научная конференция “Классическое лингвистическое образование в современном мультикультурном пространстве – 2”. В ее работе приняли участие представители академической и вузовской науки из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Белгорода, Воронежа, Самары, Уфы, Саранска, Твери, Новосибирска, Иркутска, Челябинска, Томска, Хабаровска, Сыктывкара, Волгограда, Таганрога, Астрахани, Махачкалы, Владикавказа, а также из городов Белоруссии, Украины, США, Германии, Испании, Великобритании.

Соучредителями конференции выступили Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Всероссийская ассоциация риториков, Национальная коммуникативная ассоциация (США), Российская коммуникативная ассоциация, Международная ассоциация выпускников программы Фулбрайта.

Важно отметить, что организаторы конференции ставили перед собой задачу – приблизить идеи и позиции пятигорской филологической школы для представителей самых разных регионов, включая зарубежные, а также показать актуальность традиционных направлений классического образования.

На пленарном заседании было отмечено, что в настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в Болонский процесс – единое европейское образовательное пространство. Этот процесс сопровождается значительными изменениями – осуществляется постепенный переход от научно-просветительской к научно-гуманистической парадигме образования.

Председатель Всероссийской риторической ассоциации В.И. Аннушкин подчеркнул уместность различения терминов “словесность” и “риторика”. Если в XIX веке было принято говорить о “словесных науках” и “филологии” как синонимах, на современном этапе “словесность” продолжает оставаться одним из основных понятий филологии. При этом, по мнению докладчика, словесность “более относится к изучению текстов словесных произведений, а риторика – к построению эффективной речи”.

Ключевые проблемы современности были освещены в докладах доцента кафедры классической филологии МГУ им. М.В. Ломоносова

М.Н. Славятинской и доцента Российского нового университета О.Ю. Ивановой. В частности, получили детальное отражение сопоставление понятий “классическое образование” – “классическая филология” – “классические языки”. Таким образом, можно прийти к выводу о том, что мы до сих пор продолжаем смотреть на мир греко-римскими глазами. Именно по причине того, что греко-римский мир успел и сумел выделить, обобщить и проанализировать весь космос, нам предстоит прислушаться к нему при выборе путей реформирования отечественного образования.

В рамках конференции прошли мастер-классы как представителей пятигорской школы, так и московской по отдельным аспектам изучения и преподавания латинского, древнегреческого и готского языков, древних культур, риторики, теории и практики коммуникации.

Работа конференции была организована по семи тематическим секциям:

- 1) “Древние языки, культуры и современное образование”;
- 2) “Риторические аспекты коммуникации”;
- 3) “Коммуникативные проблемы лингвистики”;
- 4) “Политический, деловой, тендерный и экопрагматический аспекты коммуникации”;
- 5) “Методические, психолого-педагогические и методологические проблемы коммуникации”;
- 6) “Литературоведческие проблемы коммуникации”;
- 7) “Национально-культурные аспекты коммуникации”.

На заседаниях секций было прочитано более 100 докладов.